

Вениамин Кисилевский

# Аритмия



Вениамин Кисилевский

**Аритмия**

«Алетейя»

2023

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Кисилевский В. Е.**

Аритмия / В. Е. Кисилевский — «Алетейя», 2023

ISBN 978-5-00165-713-2

Автор, чью книгу держите вы в руках, – врач, поэтому вполне естественным представляется, что герои многих его произведений, от имени которых ведется повествование, – медики. Отменный профессионал, он знает, о чем пишет, и делает это более чем убедительно. Ростовский писатель Вениамин Кисилевский широкому кругу читателей известен как автор более двух десятков прозаических книг, девять из которых детские, он лауреат нескольких литературных премий, избран Человеком года в номинации «писатель» (2008 г.). Но вот ребенком был он уже давно, а женщиной и вовсе никогда не был, тем не менее веришь ему, когда говорит он и от имени женщин, и детей. И даже животных. Никогда не грешит против достоверности описываемых ситуаций и характеров своих персонажей. В то же время этот серьезный и немолодой уже человек по-детски любит играть. Сюжеты его рассказов всегда занимательны, а их финалы трудно предсказуемы. Герои его живут в нашем непростом мире и переживают личные драмы, которые зачастую становятся следствием драматических событий общества. И герои эти – люди далеко не однозначные, это сложные и противоречивые натуры, нередко читателю предстоит труд сотворчества и сопереживания. Но ведь именно этого все мы и ждем от настоящей литературы, в этом вы сможете убедиться в процессе чтения, которое доставит вам истинное удовольствие.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-00165-713-2

© Кисилевский В. Е., 2023

© Алтейя, 2023

## Содержание

Снайпер	7
Хренотень	22
Шавка	32
Суд идет	42
Бессонница	59
Мобильник	64
Конец ознакомительного фрагмента.	67

# **В. Е. Кисилевский**

## **Аритмия**

© В. Е. Кисилевский, 2023

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2023

\* \* \*

*Жене Татьяне*

## Снайпер

Выбор у Векшина был невелик: в пределах области на Западной Украине, где жил он и закончил медицинский институт, или Восточно-Сибирская железная дорога. С той существенной разницей, что в первом случае место будущей работы назначила бы ему институтская распределительная комиссия, а во втором ждал бы его один из небольших городов огромной сибирской магистрали, именуемых в этом ведомстве станциями. И не в том лишь дело, что были у него весомые причины предпочесть далёкий, холодный, неведомый и непредсказуемый край какому-нибудь дальнему гуцульскому селению. Молод был, куражлив, семьёй не обременён, крепко веровал в свою удачу – отчего бы не рискнуть, мир поглядеть, себя показать. В конце концов, не все и не навсегда же концы обрубал – через два-три года, а то и раньше, если там не сложится, домой, даже не отработав положенный срок, вернётся. Не по закону, конечно, было бы, но и не такой уж криминал, многие этим грешили, всем с рук сходило.

В одном мог не сомневаться, знал по опыту своих предшественников: за эти пару-тройку лет столько будет там у него хирургической практики, сколько в здешней захудалой поселковой больничке – а на что-либо другое рассчитывать не приходилось – за десяток лет не наберётся. И вернётся он в свой город не подмастерьем, обучившимся лишь крючки держать да зашивать, если доверят, кожу в конце операции. Другие там возможности, другие перспективы. Поискал на карте город между Красноярском и Иркутском, заглянул в железнодорожный справочник, выбрал глянувшийся названием Боготол и стал собираться в дорогу. Вооружённый свежеспечённым дипломом, в котором значилось, что он, Векшин Михаил Аркадьевич, закончил в 1966-ом году лечебно-профилактический факультет мединститута и решением Государственной экзаменационной комиссии имеет право заниматься врачебной деятельностью. Потом оказалось, что в Боготоле хирурги не нужны, предложили ему другую, подальше на Восток, станцию с не менее достойной, на полтораэтажков больницей и, главное, с опытным, умелым – справки навёл – завоём хирургического отделения. Что вполне его устраивало.

И началась у Векшина новая, несравнимая с прежней жизнь. Готов был к тому, что многим придётся пожертвовать, ко многому, нравится или не нравится, приспособливаться, ножки по одежке протягивать, но давалось ему всё это очень непросто. Не однажды, особенно в первое время, довелось ему пожалеть об опрометчивом своём решении, хотелось бросить всё, бежать от чуждых, неприемлемых порой для него нравов, обычаев, отношений. Не привыкал к обитанию в общежитии локомотивного депо, куда поселили его, к неприглядной комнате с пятью машинистами и их помощниками, большими любителями выпить и поорать, которые вставали и спать ложились согласно графику движения поездов, в любое время дня и ночи, покоя не было. Лишали сна и зычные неумолчные голоса диспетчеров, доносившиеся с близкой станции. Пугала неожиданно быстро наступившая зима, к лютоści и нескончаемости которой не готов он был в своём семисезонном пальтишке и ботиночках. При зарплате, едва хватавшей на пропитание. А ещё не ожидал он, что так сильно тосковать будет по невообразимо далеко оказавшимся маме, подруге, по весёлым, остроумным друзьям-приятелям, несравнимым с новыми знакомцами, по большому, красивому, залитому огнями городу. Хватило бы и одной пятичасовой разницы во времени, чтобы долго ещё чувствовать себя живущим с ними не только в разных часовых поясах, но и словно бы в разных мирах. Обрыдлая столовская еда, удручающе скудные, полупустые магазинные прилавки...

Но если бы только это. Думал он, что встретят его здесь если не с распростёртыми объятиями, то уж по крайней мере приветливо, радушно, с хвалёным сибирским гостеприимством. Само ведь собой разумелось: приехал к ним новый молодой врач, которых тут нехватка, вроде бы симпатичный, неглупый, добровольно сменивший благодатные украинские земли на их суровое, бедное, плохо обустроенное бытие. К тому же холостой и к алкоголю равнодушный –

царский подарок для местных девиц на выданье и озабоченных их мамаш, тоже ведь не в минус. Однако же. Нет, какой-либо неприязни или, тем более, враждебности не ощутил, но и значимым событием его появление здесь не стало. Сближения с ним не искали и к себе близко не подпускали. Более того, давали, случалось, понять, что это он, невесть кто и откуда взявшийся, должен ценить терпимое отношение к себе, заслужить его. Вскоре понял, что не вызвано это его личными достоинствами или недостатками. Тут такие, как он, залётки менялись едва ли не каждый год, не приживались. В то же хирургическое отделение он, Векшин, за четыре последних года прибыл уже третьим. В довершение ко всему пользы от него было с гулькин нос – хирург он пока никакой, проку от него не скоро дождёшься, возиться с ним нужно, хоть и занимался он на старших курсах в хирургическом кружке, кое-чему научился. Зав отделением, в самом деле хороший хирург, но, как нередко это бывает, дубоватый и с нелёгким характером, в один из первых же дней отрезвил его. Сказал, что много их здесь таких перебивало, и он, Векшин, судя по всему, тоже долго не задержится, поэтому нянькой он быть ему не намерен, время и нервы на него тратить. Пусть, если желание быть хирургом не пропадёт, сам смотрит, вникает, учится. Себе дороже. Об этом ему никто из вернувшихся в город из этих краёв не рассказывал. Просто, думал, не повезло ему, такая больница и такой начальник достались.

Но со временем всё более или менее образовывалось. Через три месяца перебрался он в «элитную» общежитскую комнату на двоих, делил её с терапевтом Генной, парнем из Белоруссии, приехавшим сюда в тот же год. Взятая шефство над ними комендантша старалась по возможности скрасить их быт, появились у них радиоприёмник, настольная лампа, электрическая плитка, кое-какая посуда, шторы на окнах. Ещё и приёмничек – старенький, правда, плохонький, трескучий, вот только Китай ловил он громко, чисто. Одно из немногих здешних для него развлечений: слушать их потешные, примитивные, рассчитанные на каких-то недоумков передачи. Даже плохо верилось, что наверняка готовят их там грамотные, подготовленные агитаторы-пропагандисты, а не случайные люди. Начинались они словами «Здравствуйте, дорогие сибиряки и дальневосточники, временно проживающие на территории великого Китая». В деповской столовой их уже знали, хотели накормить повкусней, привечали магазинные продавщицы, что немало значило в те голодные, дефицитные чего ни коснись, особенно в сибирской глубинке, годы. Преимущество врачей в небольшом городке, где почти все друг друга знают и на всякий случай сводят с медиками знакомства. Жизнь постепенно налаживалась, делалась привычной, да и профессионально он созрел: грыжи и аппендициты оперировал уже не только ассистируя, иногда и самолично, лишь под присмотром операционной сестры. Вёл приём в поликлинике, тоже вроде бы неплохо получалось. Чуть потеплел к нему и зав отделением, удостоверившись, что новенький не «отбывает номер» – учится, старается, фортелей не выкидывает.

Избрав для себя такую стезю, Векшин даже вообразить себе не мог, с какими встретится здесь проблемами. С тем, например, что среди местных жителей окажется так много бывших заключённых, со всеми отголосками мышления и поведения, обрётёнными за решёткой. В подавляющем большинстве были это, как узнал он потом, люди, по каким-либо причинам побоявшиеся или не пожелавшие, отбыв срок, возвращаться на родину. Женились на местных, обживались тут, обзаводились хозяйством. Все, как правило, – охотники, у каждого ружьё, за которое нередко хватались они в пьяных разборках, не опьянев даже, а одурев от немислимой дозы выпитого отвратительного местного свекольного самогона, который гнали тут чуть ли не в каждом доме. А почти у каждого парня стоял во дворе мотоцикл – не имевший его считался каким-то неполноценным, уважения, особенно девического, не заслуживал. И гоняли они вечерами на этих ревущих, со снятыми глушителями железных колымагах с визжащими девчонками за спиной, нетрезвые, безбашенные, по тёмным, ухабистым улицам, бились, калечились нещадно. Так что работа у хирургов, а было их в больнице, Векшина считая, четверо, не переводилась и днем, и ночью. Из-за ужасной, ржавой здешней воды – остав-

шаяся вечером в стакане, утром приобретала она буроватый цвет, на дне осадок с палец толщиной – страдали печени и почки, воспалялись и плодили камни. А уж болезни щитовидной железы вообще не переводились. Вот уж к чему совершенно не был готов Векшин, пересекая на поезде более двух третей страны и дивясь гигантским необжитым просторам, дико заросших тёмными лесами, жёсткими кустарниками, скудными травами, первобытными каменистыми грядками. Зато надежды его на щедрую хирургическую практику оправдались с лихвой. Было к кому и к чему приложить руки.

Но менее всего ожидал Векшин, какой ещё, кроме стационарно-поликлинической, деятельностью придётся ему заниматься. Давно перестал удивляться такому множеству здесь бывших эков. Не зря расположенная неподалёку станция называлась Решоты – одно из первых российских селений, куда свозились каторжники, осуждённые на длительные сроки заточения. Те самые места «столь отдалённые». Не знал он, что почти весь Енисей вплоть до самого Ледовитого океана – в колючей проволоке: владения скорбно знаменитого Краслага. Как и не знал, не мог знать, сколько в его узилищах болеет и гибнет заключённых. То есть понимал, конечно, что в тюрьмах, в лагерях, в условиях далеко не курортных, люди должны и хворать, и уходить в мир иной в количествах заметно превышающих минздравовские среднестатистические данные, само собой это разумелось. Но когда пришлось ему вплотную столкнуться с этой напастью, ужаснулся всему увиденному да услышанному.

А столкнуться пришлось потому, что начали включать его во врачебные спецбригады для консультативного приёма в зонах Краслага. В бригаду входили обычно три врача, состав менялся в соответствии с возможностями и запросами. К примеру, хирург, терапевт и дерматолог, или хирург, гинеколог и окулист. Их приезд загодя согласовывали, встречали, сопровождали, выделяли помещение для осмотра. Заходили к ним на приём по терпеливой очереди, некоторые в сопровождении конвоиров, иногда на носилках. Проблема отягощалась тем, что своих врачей там вообще зачастую не было, или куролесил какой-нибудь спившийся лекарь, давно позабывший все азы медицины. Поэтому оказать кому-нибудь при надобности квалифицированную, тем паче неотложную врачебную помощь было попросту некому. А по неведомо кем писаному закону получившие срок доктора не имели права заниматься там лечением, в лучшем случае назначали их санитарями. Врачей в такую выездную бригаду выделяла, конечно, не только векшинская отделенческая больница, но и другие близлежащие, по разнарядке. К счастью, врачей из «железки» вызывали реже, чем «городских», меньше доставалось.

К счастью – потому что каждая такая поездка была для докторов, особенно молодых, непривычных, тягостным испытанием. Прежде всего – из-за скудных, а чаще вообще отсутствующих возможностей кому-то действительно помочь, хотя бы более или менее подлечить, если уж не вылечить. В большинстве случаев помощь ограничивалась постановкой диагноза, выпиской медикаментов и рекомендациями. При том, что знали, хорошо знали: почти нет шансов, что бедолагам этим станут приобретать назначенные ими лекарства, проводить необходимый курс лечения. Разве что переведут на работу полегче, дадут отдохнуть несколько дней, подкормят. Удачей было переправить его в тюремную «больничку», и большим везением – в больницу немилицейскую, если начальство снизойдет, посодержит. Когда требовалось неотложное хирургическое вмешательство, невозможное без технически оснащённой операционной и последующего выхаживания.

Сложности там возникали на каждом шагу, самые неожиданные, об одной из них Векшина заранее предупредили.

Среди эков немало было умельцев высочайшего класса, талантливых актёров, умевших симулировать какое-нибудь заболевание до того убедительно, что разоблачить их вряд ли сумели бы даже очень опытные не только врачи, но и психологи. Не говоря уже о том, что порой кое-кто из них прозрачно давал понять доктору, что лучше бы тому не очень-то усердствовать, может потом нарваться на большие неприятности. И вообще вся эта жуткая атмосфера, иско-

верканье людские судьбы, все эти лица, голоса, запахи впечатление производили донельзя гнетущее, долго не выветривались из памяти и сознания.

Когда Векшин впервые оказался в этом замкнутом инопланетном пространстве, когда впервые лязгнул за его спиной тяжёлый засов и вдохнул он в себя эти лагерные миазмы, явственно ощутил он, как тесно вдруг стало в груди и противно зануло под ложечкой. Сам себе не смог бы объяснить, что это было: не испуг, не тревога, не отвращение или отчуждение – скорей всего, неодолимое желание оказаться сейчас подальше, не касаться, не знать. Потом худо-бедно приспособился, так остро не реагировал, научился созерцать эту ущербную лагерную жизнь всего лишь с опасливым любопытством. Ужасны были женские лагеря. Навсегда запомнилось первое посещение. Тогда в бригаде с ним был ещё один мужчина, терапевт Гена. Двор, который они пересекали, пустовал, но на всякий случай сопровождали их три женщины из охраны. А за окнами, забранными толстыми железными прутьями, бесновались женщины. Отталкивая друг дружку, липли к решёткам, тянули руки, орали, звали, смеялись, улюлюкали, грязно матерились.

Но была одна зона, куда Векшин ездил если не с удовольствием, то по меньшей мере без обычного нежелания. Знаменитая «девятка». Знаменитая тем, что в большинстве сидели там осуждённые на длительные сроки за тяжкие преступления, и славилась она жёстким режимом. Начальствовал там подполковник Володя, с которым Векшин свёл знакомство. И с ним, и с его женой Катей, имевшей к медицине косвенное отношение. Когда-то в педагогическом институте, где училась на филфаке, прослушала она курс лекций по медицинской подготовке. Там парням на случай войны отводились часы для обучения военному делу, а девчонкам прививали сестринские навыки. И даже вручали потом какие-то проштампованные справки. Польза от такой подготовки была аховая, разве что научились девочки накладывать жгут при кровотечениях, делать повязки и пользоваться одноразовыми шприц-тюбиками. Понятие о врачевании Катя имела самое отдалённое, но в её кабинете стоял шкафчик с медикаментами, где на разных полочках, чтобы не путались, хранились таблетки «от головы», «от живота», «от сердца» и прочее в том же духе. Всё ж лучше, чем ничего.

Знакомство с Володей состоялось в первое же посещение Векшиным этой зоны. Во дворе увидел он идущего навстречу худого, заросшего неряшливой полуседой щетиной мужчину в замызганном ватнике, с помойными ведрами в руках. Маломальской опрятностью немногие здесь отличались, но этот больно уж был непригляден. Взглянув на него, Векшин сначала не поверил своим глазам, присмотрелся внимательней – и понял, что не заблуждается, не мерещится ему. Это действительно был Грач. Профессор Грач, Богдан Романович, завкафедрой нервных болезней. Бывший.

Векшину не довелось у него поучиться, потому что был он тогда на четвёртом курсе, а цикл неврологии проходили на пятом. Но, конечно же, прекрасно знал профессора Грача. Как и все студенты, с первокурсников начиная. Богдан Романович несомненно был самой колоритной личностью, и не только в студенческой среде. Самый молодой в институте доктор наук, получивший кафедру в тридцать с небольшим лет, что в медицинских кругах уникальное явление, знаменит он был не только этим. Внешностью тоже обладал незаурядной: высокий, спортивный, хорош той неотразимой мужской красотой, что более всего пленяет женщин, – волевое, крупной лепки лицо, чёрные, без блеска, глаза, белые изящные руки. Но едва ли не главной его достопримечательностью была роскошная, до плеч, волнистая чёрная грива, какой во всём городе похвастать могли единицы, а уж в чопорном медицинском профессиональном клане – вряд ли один-другой на весь город. Надо ли говорить, что почти все институтские девчонки, особенно пятикурсницы, проходившие у него цикл нервных болезней, кстати сказать, одну из труднейших для изучения дисциплин, тайно или откровенно были влюблены в него. Чем – большой тайной ни для кого это не было – профессор Грач иногда не пренебрегал.

Но это ещё не всё. Был Богдан Романович бесконкурентным законодателем мод. Способствовало этому и то, что имел он возможность, редчайшую даже для самых заслуженных, именитых деятелей той поры, бывать за рубежом на различных конференциях и симпозиумах, включая туманные, недостижимые капстраны. И, соответственно, покупать там вещи, какие даже в самых дорогих комиссионках чудом сыщешь. На Грача глядя, можно было постичь, что сейчас модно в Европах, каких цветов и кроев носят пиджаки, какой ширины и длины брюки, какой расцветки и формы галстуки, толщины подошвы, вплоть до самых мелких аксессуаров мужской современности и неотразимости. И не только постичь, но и стараться в меру сил и возможностей этому соответствовать, оправдывая давнюю русскую поговорку о хитрой на выдумку голи. Не тайной для всех было и кое-что посущественней. Жил профессор Грач в красивом особняке в престижном районе, чем тоже похвастать могли лишь избранные, и собирались там у него развесёлые компании таких же избранных друзей. Об этих лукулловых пиршествах ходили легенды, пусть и никто не смог бы с уверенностью сказать, насколько они достоверны. Ничего, вообще-то, такого уж зазорного – Грач был не женат, обязательств ни перед кем не имел, тем более что многие блюстители нравов сочли бы за честь быть туда приглашёнными. Но прежде всего, говоря о Роме Богдановиче, надо бы сказать, что был он специалистом высочайшего класса, работы его печатали крупнейшие зарубежные журналы, нередко вызывали его для участия в консилиуме в Киев, случалось, что и в Москву.

И вдруг рухнуло для него всё, в одночасье скатилось в пропасть. Кто-то позвонил в милицию и сообщил, что в особняке по такому-то адресу творится разнузданная оргия, участвуют в ней малолетки. Концовка этого анонимного звонка сыграла решающую роль. Попала в самую сердцевину. Как раз в это время разгоралась в прессе бурная кампания по борьбе с совращением малолетних, вызванная недавним громким уголовным процессом. Посланный туда милицкий наряд обнаружил там не малолеток, конечно, но одну девчонку, не достигшую совершеннолетия. Влип Богдан Романович крепко, угодил, что называется, под раздачу. Не помогли ему ни медицинские заслуги, ни знакомства заоблачного уровня, ни влиятельнейшие пациенты, кое-кто из которых обязан ему был не только здоровьем, но и жизнью, не смогли защитить именитые коллеги. А может быть, об этом тоже поговаривали, и не хотели защитить его – молодого, даровитого, успешного, кумира институтской молодёжи. Дело получило широкую огласку и в центральной прессе, обратного хода уже не имело. Был взбаламутивший весь город показательный судебный процесс, Богдану Романовичу дали десять лет.

И вот увидел его Векшин посреди лагерного двора, едва узнаваемо преобразившегося, в таком непотребном виде, с этими погаными вёдрами. Поспешил он встретиться со здешним начальством, спросил у подполковника, которого не знал ещё и не называл Володей, зачем он приглашает к себе каких-то местных врачей, когда есть тут у него знаменитый профессор, учёный с мировым именем, о чьей консультации лишь мечтать могли простые смертные. Может быть, товарищ подполковник просто не знает об этом?

Товарищ подполковник знал. Знал и то, о чём понятия не имел Векшин. О том, что неизвестными путями заключённые всегда узнают, какое приходит к ним пополнение. Досконально о каждом. Информация эта нередко поступает раньше его появления здесь, в соответствии с ней привечают и определяют ему место согласно незыблемой лагерной иерархии. И что-то изменить потом невозможно, не докажешь ничего и не поправишь. С Романом Богдановичем случилась беда. Прилетела сюда молва, что он «сука» – за какие-нибудь блага работает на ментов, закладывает своих. Жизни таких здесь не позавидуешь. Володя даже не знал, насколько это достоверно, не было ли здесь какой-то чудовищной ошибки, но всё равно изменить что-либо не в его было власти. А Грач ни на что больше не мог уже претендовать, со всеми проблемами полученной репутации, с пресловутым «местом у параша», презрительным отношением к себе и всеми обидами, большими и маленькими. Само собой, ни о каком врачевании тут он и во сне помышлять не мог, даже санитарское поприще было для него недостижимо.

Вскоре, однако, Векшину удалось сотворить невозможное. И то лишь потому, что Катин отец был крупным милицейским чиновником, поспособствовал. Грача в виде исключения перевели внештатным ординатором в тюремную больницу, жизнь его преобразилась. Векшин же настолько сдружился с Володей и Катей, что наведывался к ним уже по собственной инициативе. А те ждали его всегда с нетерпением. Дело в том, что Володя с Катей были большими любителями преферанса, а нужного для игры третьего здесь не находилось. Векшин и сам любил поиграть, к тому же скрашивал этим свою небогатую событиями нынешнюю жизнь.

Привлекала его не только игра. Не менее занятными были Володины рассказы о лагерной жизни, зачастую просто с фантастическими сюжетами, в правдивости которых усомнился бы, если бы рассказывал ему кто-то другой. А рассказчик Володя был отменный, Векшин несколько раз предлагал ему записывать эти истории, книгу издать. Бестселлер получился бы ломовой, но Володя лишь посмеивался да отшучивался. Подогретый его интересом, Володя иногда припасал для него ещё и встречи с самыми интересными своими подопечными – знаменитыми аферистами и мошенниками, известными деятелями науки и культуры, маньяками и убийцами, было даже несколько людоедов. Приглашал их к Векшину якобы для осмотра или навещали в бараках. Поражало Векшина, что немало среди них было женщин, в большинстве своём молодых и привлекательных. Однажды видел там Векшин девушку просто неземной красоты. Она, как он догадывался, была тут на особом положении, потому что дозволено ей было носить длинные, почти до пояса волосы. Она, когда они с Володей вошли, глядела в окно, стояла к ним спиной. Векшин подивился золотистому, не жёлтому, не рыжеватому, именно золотистому цвету её волос. А когда она обернулась, увидел глаза, каких никогда прежде не встречал и не подозревал, что такое вообще возможно – длиннющие, чуть ли не от самых висков, и чистой, беспримесной синевы.

Не таких прелестниц, конечно, но просто красивых девушек было там почему-то необъяснимо много. Векшин даже подтрунивал над Володей, что тот не без умысла собирает у себя столько симпатичных девиц. И не менее удивлён был Володиной отповедью. Как-то раньше не приходило это ему в голову. Впрочем, никогда и не задумывался над этим. Многие из этих девушек рождались и росли на убогих, заброшенных городских окраинах, где, как водится, заправляет кучка местных хулиганов, во главе с ушлым вожачком. Хорошенькую девчонку замечали, когда она ещё только начинала созреть, и её судьба, если не в девяти случаях из десяти, то уж в пяти точно, была предрешена. Вожачок «клат на неё глаз» – и дальше сюжет развивался по одному и тому же сценарию. У чужаков – мальчишек, а потом и ребят постарше – быстро пропадала охота не только поухаживать за ней, но и просто погулять, домой проводить. Лупили их со знанием дела, обычно хватало одного такого внушения, чтобы дорогу сюда позабыли. Каких-либо шансов сопротивляться, управу на обидчиков искать у девчонки практически не было. Разве что защитник у неё находился этой шайке не по зубам. Ставили её перед выбором: или в дружки тебе вожачок, или вообще никого.

И вот тут-то самое казалось бы нелогичное и вершилось. Девочке начинал нравиться вожачок – удалой, рискованный, бывалый, верховодящий всеми остальными. Лыстило ей, что выбрал он её среди других, подружки завидовали. Везло, если были это всего лишь дворовые хулиганы – неизбежные издержки времени, места и возраста. Но нередко эти маленькие подонки, начиная с чужих карманов, ларьков и киосков, быстро докатывались до бандитских налётов и грабежей, а потом, обнаглев и озверев от безнаказанности, и до чего пострашней. А девочка, которую вожачок потехи ради взял однажды с собой, чтобы постояла «на атасе», пока взламывают они табачный ларёк, незаметно втягивалась в эту опасную, шампански пенящую кровь и нервы игру, дивясь своей отчаянностью, своей причастности к этой таинственной, не каждой девчонке даденной жизни. Отравлялась искушением за какой-то час-другой заполучить столько, сколько её захиревшим полунищим родителям за месяцы не светит, иной жизни

уже не представляла себе. С предсказуемым и неотвратимым раньше или позже возмездием, во что не верилось тогда ей и верить не хотелось.

Говорил это Володя явно в отместку за игривые векшинские намёки, ёрничал, что не учат их в институте основе основ – некнижной, житейской психологии, без которой хвалёной их медицине грош цена. Потому-де и столько вокруг бездарных врачей, ничего, кроме нескольких зазубренных симптомов и рецептурных прописей не знающих и не желающих знать, насмотрелся он на этих эскулапов. И что с характером проблемы у них по той же причине: когда настоящему проявить его нужно, кишка оказывается тонка, пасуют. А затем вдруг, в сомнении потеряв кончик носа, спросил вдруг, хочет ли Векшин поглядеть, как приводится в исполнение приговор.

– В каком смысле? – не понял Векшин.

– В том самом, – ответил Володя. – Сегодня как раз у нас день такой, подгадал ты.

– К стенке, что ли, ставят? – догадался Векшин.

– Не к стенке. Если желание такое есть, можешь сам увидеть. Тебе, как врачу, дозволено.

– Ну... я, вообще-то, не против, – не сразу согласился Векшин. И даже рискнул пошутить: – Для восполнения твоего психологического практикума. – А как это – не к стенке?

– Увидишь, – пообещал Володя. – Между прочим, система у нас гуманная, не то что вы, хирурги, живодёры...

Он потом тысячу раз пожалел об этом своем согласии. Он, с первого курса кромсавший трупы, изучая анатомию, не однажды сталкивавшийся со смертью за годы учебы в институтских клиниках, успевший встретиться с нею и за время своей недолгой работы хирургом.

Володя всё же по дороге счёл нужным подготовить Векшина к предстоящему испытанию. Система, просвещал его Володя, в самом деле была гуманная, если, конечно, уместно тут было это слово. Во всяком случае, человек, приговорённый к смерти, не ведал, когда, в какой момент оборвётся его жизнь. Хоть и знал он, что смертной кары ему не избежать, поневоле готов был к ней, если, опять же, возможно к этому быть готовым. Та же, доказывал Володя, психология. Вот только ждать этого рокового дня приходится месяцами, а то и годами, кому-то ожидание это пострашней, невыносимей любой казни, люди сходят с ума, накладывают на себя руки, кому-то дорога каждая секунда дрящей жизни, надеются неизвестно на что...

Это был длинный узкий коридор, в дальнем конце которого – дверь в обычную комнату. Приговорённого несколько раз водили по этому коридору в эту комнату, где нужно ему было то дать какие-нибудь дополнительные показания, то подписать какую-нибудь бумажку. И вели всегда вдоль стеночки, ни на шаг от неё не отступая. Он привыкал к таким хождениям, никакой опасности для себя в них не чуял. И в один из дней в этом коридоре жизнь его обрывалась. За колонной поджидал его снайпер, у которого было там пристроенное место. И когда смертник подходил к нему, снайпер спускал курок...

Векшин, томившийся, обливавшийся омерзительным липким потом в ожидании развязки, увидел, как швырнуло казнённого на стену, услышал, как треснул череп и выплеснулась из него на крашеную зелёной масляной краской стену кровавая мозговая слизь, медленно поползла вниз. Смертник рухнул на пол, тут же подбежали двое с ведром и носилками, быстро смыли тряпкой со стены шевелившую жуткими щупальцами кровавую медузу, засунули труп в брезентовый мешок, бросили на носилки и унесли.

Он знал, что казнили изверга, на чёрной совести которого было больше десятка изнасилованных им и жестоко потом убитых мальчишек, сам недрогнувшей рукой подписался бы под смертным приговором этой нелюди. И никакой жалости до последнего мгновения не испытывал к немолодому уже мужчине, шедшему по коридору, опустив голову, с заложенными за спину руками. Поражался его обыкновенному, без каких-либо порочных следов лицу, неожиданным очкам на вислом носу, словно бы недостойн тот был даже этого. Но то, как просто и

страшно, в один миг оборвалась на его глазах человеческая жизнь, этот прилипающий к стене кровавый человеческий студень...

Он с трудом сумел погасить рвавшийся наружу приступ тошноты, облокотился на стенку, не надеясь на ослабевшие ноги. И выглядел, судя по всему, плоховато, потому что Володя поддержал его за плечо, тревожно спросил:

– Ты как, Миша?

– Ничего, нормально, – пересилил себя Векшин. – Давай уйдём отсюда, дышится тут как-то...

Сразило его не только зрелище состоявшейся казни. Не меньше – что снайпером была женщина. Молодая ещё, чуть за сорок по виду, симпатичная женщина, чернявая и темноглазая, с открытым, чуть скуластым лицом. Та же логика – будто она, занимаясь таким жестоким, тем более для женщины, ремеслом, обязательно должна быть какой-нибудь образиной.

Уже потом, когда сидели они в Володином кабинете и пили – никогда ещё Векшин не поглощал его с таким желанием – коньяк, разузнал он об этой женщине. Зоряна – так романтично, оказалось, звали её – в самом деле женщиной была необычной. И знаменитой.

– Ты бы видел её при полном параде, – говорил Володя. – У неё столько орденов и медалей, что не всякому вояке сравниться. О ней газеты писали, фотографии в газетах печатали. Она снайпером на войне была, столько немчуры ухайдакала, что даже фильм о ней хотели снимать. А она отказалась, наотрез. Вообще скромности она редчайшей – никогда о своих боевых заслугах не рассказывает, награды в праздничные дни не цепляет, журналистов, рвущихся к ней, близко не подпускает.

– Исполать ей, – пожимал плечами Векшин, – но неужто никакую другую работу для себя подыскать не могла? Не настрелялась? Больше двадцати лет уже, как война закончилась.

– Это не ко мне, – сморщился от кислоты лимонной дольки Володя, – это ты у неё спроси. Чем-то, значит, она руководствуется, неспроста же.

– Спросил бы непременно, – Векшин уже заметно охмелел. – Про твою психологию. – Загорелся: – Слышь, Вова, а позови её сюда, будь другом. Страсть как хочется покалякать с ней, интересно же.

Володя помедлил, затем поднялся, отодвинул стул.

– Не обещаю, но попробую. Покалякать с ней тебе вряд ли удастся, из неё лишнего слова не вытянешь. И приказать ей нельзя, только попросить, кремень-баба. И если не ушла ещё.

Оставшись в одиночестве, Векшин уронил голову на брошенные на стол руки, закрыл глаза. Выпитый коньяк спасительно сгладил кошмарность недавних впечатлений, хранилось лишь, не пропадало муторное нытье в глубинах желудка. Раскрылась дверь, Володя вернулся с Зоряной.

– Знакомся, Зоряна, – сказал ей Володя, – это доктор Векшин, о котором я говорил тебе.

Векшин вышел из-за стола, шагнул вперед, замешкался, не зная, протягивать ей руку или дожидаться, пока сделает это Зоряна. Мелькнула даже мысль, что эта непостижимая женщина вообще может не посчитать нужным делать это, – кто он, мальчишка, пусть и врач, в сравнении с ней. А ещё о том, что придётся ему коснуться руки, сжимавшей недавно тяжелую винтовку, целясь в человеческую голову. И только сейчас, вблизи, заметил, что лицо её тоже чем-то необычно, есть в нём что-то странное, чудное. И вдруг, когда очутились они глаза в глаза, понял это. Они у неё были разного цвета. Левый – тёмно-лиловый, почти черный, а правый чуть посветлей, с карим оттенком. От неё, похоже, не укрылось его замешательство, уголки её бледных, не накрашенных губ слегка дрогнули, протянула ему руку, спросила:

– Вы в самом деле приехали сюда с Украины?

Этот говор не слышал он с того дня, как приехал сюда. Спутать его с каким-либо другим было невозможно, не выветривался он за долгие годы, а скорей всего вообще никогда, как бы обладатель его ни старался. Говор уроженца Западной Украины, так хорошо ему знакомый.

Говор, в который вносили свою лепту, нередко возвращаясь, повторяясь, сменявшие друг друга власти – польская, русская, австро-венгерская, советская, образовав за истекшие века ни с чем не сравнимую языковую смесь.

– Оттуда, – подтвердил он после не по-женски крепкого её рукопожатия. И предвосхищая её неминуемый следующий вопрос, назвал свой город.

Зоряна продлила улыбку, сказала, что рада встретить здесь земляка, давно не приходилось. А сама она, сказала, из Яворова, это ж совсем рядом, и во Львове у неё дочь, тоже учится в медицинском институте, заканчивает четвертый курс, Терещук Марийка, может быть, знает он её. Огорчилась, что не знаком он с ней, но всё равно надо бы им поговорить, жаль, сейчас времени нет, ждут её, надеется она, что вскоре они увидятся...

– Ты сделал невозможное, – покрутил головой Володя, когда Зоряна, выяснив, в какой больнице он работает и где живёт, распрощалась. – Не припомню, когда видел её улыбавшейся. У неё и мужик такой же, бирюк бирюком.

А увидеться с ней довелось Векшину в самом деле вскоре, чего уж никак он не ожидал. На следующий же день. В воскресенье. И не по добру. Поздним вечером заглянула к нему общежитская сторожиха, сказала, что звонили ему из больницы, просили срочно прибыть. Обычное дело, наверняка звали его на какую-нибудь большую операцию, где одному не управиться и требовался ассистент, потому что дежурство на дому в этот день было не его, а Сапеева, того бы и вызвали. Или, об этом Векшин тоже не мог не подумать, Сапеев сейчас не в том состоянии, чтобы работать, что, увы, было не редкостью. Опасения эти оправдались, когда через четверть часа, благо жил неподалёку, пришел в отделение. Куда больше удивило его, даже больше чем удивило, когда дежурившая сестра сказала ему, что дело не только в «болезни» Сапеева. Женщина, не местная, которую муж привёз с линии, настаивает, чтобы принял её обязательно он, Векшин. Вот уж не предполагал Михаил Аркадьевич, что удостоится он такой чести. Спросил, на что она жалуется, услышал, что мается животом, похоже на аппендицит, и пошел в смотровую, где находилась та женщина.

В коридоре поджидал его рослый, бородатый и густобровый, похожий на цыгана мужчина – муж её, как догадался Векшин. Протянул он Векшину какой-то сверток и смущённо пробасил:

– Возьмите, доктор, уважьте. Она вам только одному и доверяет, потому что вы свой.

Почему он свой, Векшин не понял, но о содержимом свёртка догадаться несложно было и не развернув его.

– Вот это лишнее, уберите, – отодвинул он руку бородача, – и давайте не будем терять понапрасну время.

– Ну пожалуйста, доктор, – прижал тот к груди огромный кулак, – соболёк там для вас, из уважения, охотники мы, велела она...

Векшин молча обогнул его, вошёл в смотровую комнату, закрыл за собой дверь – и замер, уставившись на лежавшую на топчане Зоряну.

– Вы? – изумился.

– Як бачитэ, – блекло усмехнулась она, и дальше тоже говорила с ним по-украински. Чтобы извинил он её, что потревожила его в такое позднее время, в выходной день ещё, что устала она терпеть эти боли, никакие таблетки не помогали. Муж настоял, что в больницу ей надо, уприсил соседа, чтобы тот отвёз их сюда, повезло ей, что успела познакомиться с Векшиным, тут такой народ, никому доверять нельзя.

О таком народе Векшин дискутировать с ней не стал, расспросил её о подробностях заболевания, старательно пропальпировал живот. И отдал ей должное: при этих, уж он-то знал, болезненных манипуляциях Зоряна не только не застонала ни разу – не поморщилась. Сомнений у Векшина не было: диагноз такой называют студенческим, все классические признаки воспаления аппендикса были отчётливо выражены. Поручил он сестре сделать анализ крови,

затем попросил её вызвать операционную сестру. Украинским, даже с «мисцэвым» акцентом языком владел он не хуже русского, на нём с Зоряной и общался, если так ей было удобней. Так же невозмутимо отнеслась она к тому, что предстоит операция. «Ну шо ж, панэ Михайло, якщо трэба, то трэба». Но с первой же секунды знал он, что сам оперировать её не станет, не рискнёт. По закону подлости, о справедливости которого знает каждый медик, высок был вариант какого-нибудь непредвиденного осложнения, с которым ему не справиться. Вышел, сказал топтавшемуся там мужу, что жене его необходимо удалить аппендикс, слоняться здесь нет ему смысла и не положено, тем более поздно уже, пусть он не держит машину, уезжает домой, раньше завтрашнего утра всё равно ничего не будет известно. И поспешил в ординаторскую звонить заведующему отделением. Мельком успел заметить, что свёртка в руках мужа-охотника теперь не было, хоть с этой морокой разделался.

Уже набирая на диске телефонный номер зава, вспомнил Векшин, что приехал к тому какой-то давний армейский дружок, подосадовал. Худшие опасения оправдались, лишь только услышал его голос: зав явно был уже крепко поддатый. А выслушав Векшина, проскрипел, что надоели ему все эти туристы, не дадут спокойно отдохнуть, ничего сами не умеют, от аппендицита и то шарахаются. Выпустив пар, смягчился немного, сказал, чтобы Векшин не замораживался, сам приступал, ежели что не так будет, он подъедет. После чего огорошил Векшина:

– Да ты ж смотри, наркоз давать некому, оперировать будешь под местной, Юра в Красноярск укатил.

Одно к одному. Векшин в сердцах пристукнул трубкой о рычаг. Юра, четвёртый больницы хирург, работал ещё по совместительству единственным здесь анестезиологом. Суеверно подумал, что, как правило, дело, плохо начавшись, благополучно не завершается. И не в том лишь проблема, что под местной анестезией, к тому же с небольшим его в этой дисциплине опытом, не избежать Зоряне, какой бы ни была она терпеливой, сильных болевых ощущений. Если операция затянется, долго или вообще не сможет он отыскать или выделить отрокосток, ни ей, ни ему мало не покажется. По нестаряющему присловью, что аппендэктомия – одна из самых простых и самых сложных хирургических операций. Оставался, конечно, путь к спасению: звать на помощь зава, но от одной мысли, каким пьяно недобрым, раздражённым появится тот в операционной, жить не хотелось.

Пришла Лида, операционная сестра, тоже недовольная, что нет ей покоя даже в воскресный вечер, откровенно давала понять это Векшину. Он с обидой подумал, что будь на его месте кто-либо другой из врачей, она бы себе такого не позволила. Но молча это проглотил: кроме всего прочего, на Лиду он крепко рассчитывал: опытная, умелая сестра, проследит она, предупредит, подскажет – не раз, особенно в первое время, выручала его на операции. Лида, ворча что-то себе под нос, отправилась готовиться к работе, время пошло.

Векшин направлялся мыть руки в предоперационную, когда провезли на каталке прикрытую простыней Зоряну. Он вдруг поймал себя на том, что не то чтобы стесняется, но как-то неловко почувствует себя, увидев её на столе обнажённой. Будто и этим должна была отличаться она от прочих женщин. Когда вошёл в операционную, санитарка пристёгивала ремнями к столу уже вторую, левую руку Зоряны. И он, бросив на неё взгляд, снова получил возможность удивиться. И вовсе не тому, что умудрилась Зоряна сохранить на пятом десятке такое молодое, сильное тело. Под левой мышкой синел у неё вытатуированный трезубец. Вряд ли сказал бы он о чём-нибудь санитарке или Лиде, но Векшину хорошо знаком был этот бандеровский символ. И снова удивился – теперь тому, что она с таким опасным клеймом могла воевать в Красной Армии, получать награды, потом работать в местах заключения, а не находиться в них совсем в ином качестве. В конце концов, можно ведь было избавиться от него, подстраховаться, но она, однако, этого почему-то не сделала. Было Векшину, правда, сейчас не до того.

И ещё одна, расхожая не в медицине только примета: когда готовишь себя к тому, что ничего у тебя не получится, чаще всего худшее не сбывается. А это была чуть ли не самая удачная аппендэктомия в недолгой хирургической жизни Векшина. Может быть, не так уж безупречно проводил он обезболивание – выяснить это было трудно, потому что на вопросы, не больно ли ей, Зоряна неизменно отвечала «дякую, всё гаразд», – но протекала операция просто замечательно. Впрочем, новокаина он не жалел. Всё у него складывалось как нельзя лучше: отросток искать не пришлось, кровотечение было пустяковым, даже кожный шов получился на загляденье, красивым, ровненьким. Лишь потом, когда Зоряну увезли, а Векшин размывался, некстати вспомнилась ему, самоеду, нехорошая история. Месяца два назад одну женщину после такого вмешательства пришлось оперировать повторно: из-за ненадежно перевязанной брыжейки началось внутреннее кровотечение, надо было раскрывать рану, вмешиваться. Оперировал тогда, правда, не он, а Сапеев, но тем не менее. Сплюнув мысленно три раза, Векшин отправился навестить Зоряну, так же суеверно решил сразу не уходить, понаблюдать за ней. По пути заглянул в ординаторскую, увидел на столе знакомый ему свёрток – поспособствовал, значит, мужу кто-то из персонала.

В отделении была всего одна двухместная палата, куда на пустовавшую койку положили Зоряну. Вторая, редкий случай, тоже была свободна. Векшин сел рядом с Зоряной, проверил пульс, давление, спросил, как она себя чувствует, услышал в ответ знакомое «всё гаразд». Знал он, что скоро, когда начнет отходить новокаин, не всё будет гаразд, предупредил сестру, чтобы минут через двадцать ввела ей обезболивающее. А сейчас выслушал, стараясь не выказать, до чего это ему приятно, Зорянины комплименты, как хорошо и быстро сделал он операцию, благодарила она судьбу, что познакомилась с ним, вовремя вспомнила о нём и приехала сюда. И повторила, что от этих клятых москалей ничего хорошего ждать не приходится. Особенно, когда узнают её украинскую фамилию. Не время сейчас было возражать ей, что-то доказывать, сказал лишь, что она не права, украинских фамилий здесь пруд пруди и какое вообще это может иметь значение. Но тема эта, видать, была для Зоряны очень чувствительной, потому что она, всегда такая скупая на эмоции, вдруг сильно возбудилась, завелась, на скулах проступили красные пятна. Поразила его, «пусть не обижается доктор», слепоте и наивности. Неужели не понимает он, что не от хорошей жизни появилось тут столько носителей украинских фамилий, что москали ссылали их сюда с незапамятных времен, а уж сталинские выродки просто задалась целью истребить. Неужели не знает, не помнит он об устроенном ими в Украине смертельном голодоморе, о том, сколько ещё миллионов сгнуло в вагонах для перевозки скота от голода и болезней, как выбрасывали их потом в этих гиблых, диких, негожих для нормальной человеческой жизни краях, женщин, детей, стариков. Лютой зимой, в чистом поле, за сотни километров от ближайшего человеческого жилья, обрекая на медленную и мучительную смерть. Как сделали они из Украины свою прислужницу, унижая где и как только можно, высасывают из неё все соки, грабят без зазрения совести. Даже во время войны, и она тому свидетель, старались они, чтобы погибло как можно больше украинцев, прятались, сволочи, за их спинами...

Векшин растерялся. И от неожиданности, и от опасной её откровенности, пусть и приняла она его за «своего», и от очевидной несправедливости её обвинений, и, более всего, от безудержной, выплескивавшейся наружу ненависти, звучавшей в каждом её слове. Ему и раньше доводилось встречать оголтелых националистов, да и было их, вообще-то, во Львове не так уж мало, но столь яростного, непримиримого, видел впервые. Ближе всего была мысль, что это какая-то неадекватная послеоперационная реакция, хоть и не вводили Зоряну в общий наркоз. Если бы. Если бы не бандеровский тризуб под левым её плечом. Слишком долго прожил он на украинском западе, и не только наглядился и наслушался, всякого хватало, чтобы не понять, откуда и куда дует ветер. А если и были у него какие-либо иллюзии – наивность, как считала Зоряна, – то шесть лет институтской учёбы позаботились, чтобы от них следа не осталось.

Одна из не последних причин, отчего предпочел он Восточно-Сибирскую дорогу. И был он не маленьким мальчиком, в шестой или седьмой класс уже ходил, когда последние оуновцы, ратники Степана Бандеры покинули свои схроны.

Ощутил он к ней после пламенного этого монолога чувство неприязни, настроился почти враждебно? Если и так, то самую малость. Потому ещё, может, что слышал сейчас её оговоры в такой дали от этих схронов. И как вообще относиться к этой непостижимой разноглазой женщине, в которой столько всего сплелось? К женщине, которая геройски воевала с гитлеровцами. И которая хладнокровно целилась в голову идущему по коридору человеку с заложными за спину руками. Которую он только что оперировал. Не жизнь ей, конечно, спасал, но всё-таки. Как сейчас должен был себя повести? И почему вообще должен он к ней как-то относиться вне связи врач-больная, кто и какой бы она ни была. Решение напрашивалось самое разумное. В конце концов, человек она для него случайный, через неделю снимет он ей швы, выпишется она – и никогда они больше не пересекутся. У неё своя жизнь, у него своя. А если хочет он ещё немного понаблюдать за ней, чтобы убедиться в успешности операции, не обязательно сидеть возле неё. Встал, сказал, что нельзя ей волноваться, нужно отдохнуть, это для неё сейчас важнее всего остального. Скоро придёт сестра, сделает ей укол, чтобы боли не доносили и быстрее она заснула.

Зоряна потускнела, спросила, уходит ли он сейчас домой. Векшин ответил, что немного побудет – надо пройти по палатам, сделать запись в операционном журнале. Она, того заметней краснея, попросила, чтобы он, если такая возможность есть у него, побыл ещё немного, что-то ей не по себе. Векшин успокоил её, сказал, что сегодня ночью дежурит хорошая, внимательная постовая сестра, и если, упаси Господь, появится в том надобность, его сразу же к ней позовут. А затем произошло совсем уж для него неожиданное: спросила она, не презирает ли он её из-за работы, которой она занимается. Векшин задержался у двери, уклончиво ответил, что не ему её судить, к тому же должен ведь кто-то и эту работу выполнять, пол её тут ни при чём.

– Но я ведь вижу, – хмурилась она. – Вы ко мне вдруг переменялись. Если не из-за этого, тогда из-за чего? Вам не нравится, что я не люблю москалей?

Векшин, хоть и решил, что не станет затевать с ней дискуссии, всё-таки не удержался, сказал, что да, не нравится, тут же добавил, что никак это не влияет на их нынешние отношения, равно как и то, где и кем она работает.

– Но я ведь вижу, – повторила она. – Значит, вы против того, о чём я говорила. – И после недолгой паузы: – Значит, извините, вы не настоящий украинец.

– Значит, не настоящий, – завершил эту никому не нужную полемику Векшин, открывая дверь.

– Да погодите вы! – приподнялась она. – Ну ещё пять минут, пожалуйста, вы ж ничего не знаете!

– Хорошо, пять минут. – Векшин вернулся на свой стул. – Слушаю вас.

И слушал. И снова поверилось ему, что всё-таки произошли у неё психические сдвиги, наваждение какое-то. Заговорила она быстро, страстно, то ли от нахлынувшего возбуждения, то ли боялась, что не успеет высказаться. Чтобы не верил он лживой советской пропаганде, что воевал Степан Бандера не за немцев, а за Украину, вольную, независимую Украину. Раньше не давал он гнобить её полякам, а потом, когда в тридцать девятом оккупировали Западную Украину москали, бился с ними. А знает ли Векшин, что созданная Бандерой Организация Украинских Националистов, её Украинская Повстанческая Армия сражалась и против немцев, отстаивая независимость Украины? Не знает? И вспомнит он ещё её слова, когда Герою Украины Бандере памятники в Украине будут ставить, улицы его именем назовут. А его красночёрное знамя будет развеваться над киевской ратушей. Если не суждено ей будет дожить до той счастливой поры, то уж дочери её – наверняка, в чём она абсолютно уверена. И долг каждого

настоящего украинца делать всё, где, что и как он может, чтобы приблизить день, когда нэнька Украина будет для украинцев, а не для всякого москальского и жидовского сброда.

Она задохнулась, теперь уже всё лицо её полыхало. Векшин ещё крепче подосадовал, что дал втянуть себя в этот ненужный и глупый разговор, довёл послеоперационную больную, которой сейчас прежде всего покой нужен, до такого состояния, речи её бредовые слушал. Не требовалось ведь врачебного диплома, чтобы с самого начала усомниться в её полной вменяемости. Ещё когда только заявила она ему, что боится обратиться за помощью к москальским врачам. Осторожно взял её за руку, начал тихо уговаривать, чтобы успокоилась, что вредно ей волноваться, что, конечно же, поговорят они ещё обо всём этом, но не сейчас, будет у них для этого время. Очень вовремя появилась сестра с подготовленными шприцами на крышке стерилизатора, Векшин шепнул ей, чтобы добавила Зоряне пару кубиков димедрола.

Он сразу не ушёл, дождался, пока она уснёт. Теперь, с опущенными веками, выглядела Зоряна иначе – безмятежной, умиротворённой. Оттого ещё, подумал, что как-то непривычно чувствовал он себя, когда глядели на него её темные, разного цвета глаза. Подумал и о том, что не может быть нормальной психика у человека, женщины тем более, хладнокровно убивающего людей. А вслед за тем – совсем уже безумная мысль о личном вкладе каждого настоящего украинца «где, что и как он может», который вносит Зоряна.

Утром следующего дня, перед планёркой, заглянул он к ней в палату. Зоряна была уже не одна, на соседней койке лежала женщина – отпрашивалась, оказалось, у зава домой на воскресенье. Векшин этому порадовался – при той любые разговоры, кроме касавшихся здоровья, исключались. И минимум в ближайшие три дня не возобновятся, потому что по нынешним хирургическим канонам раньше этого срока Зоряне покидать койку и ходить не рекомендуется. Порадовался и тому, что чувствовала она себя хорошо, показатели все были нормальные. Как и нормально, и даже по-русски, общалась она с ним, ни словом, ни взглядом не напоминая о вчерашней беседе. Так он до конца и не понял, была она тогда предельно откровенна с ним или проявились всё-таки симптомы послеоперационного психоза.

Обошлось и с мужем. Неминуемой встречи с ним Векшин ждал чуть ли не обречённо. С первого же дня посчитав для себя невозможным принимать какие-либо подношения от больных и их родичей, не однажды уже оказывался он в дурацких ситуациях, когда перепихивали они друг другу «благодарственные» пакеты или конверты. Случалось ему и бежать за кем-нибудь, догонять, чтобы вернуть. Впрочем, хорошо ли, плохо ли, бывало это очень редко – для местного люда не набрал он ещё нужных кондиций. А тут этот мрачный, бородатый, в самом деле бирюк, со своим собольком и присказкой «велела она». Но к поединку с ним Векшин подготовился. К тому же удачно увидел его в окно. Выхватил из ящика стола сунутый туда минувшим вечером свёрток, заторопился к выходу. Встретил его на крыльце, отдал ему свёрток с заготовленной фразой, что у «своих» ничего брать нельзя, это плохая примета, даст Бог, ещё свидятся они, не последний день живут. Сработало. Бородач, пошевелив беззвучно губами, затем понимающе кивнул и забрал соболька. Возвращался Векшин довольный своей придумкой в ординаторскую и даже помыслить не мог, что вскоре ждёт его встреча с ещё одним членом Зоряниной семьи. Да какая...

Вечером третьего после операции дня в дверь его комнаты кто-то постучал. Генки не было – появилась у него тут зазноба, остался у неё ночевать. Векшин, в одних трусах, лежал на кровати, читал монографию об операциях на желудке. Завтра предстояло ему ассистировать заву на резекции, следовало подготовиться. Вставать не хотелось – наверняка был это кто-то из общежитских ребят, крикнул, чтобы входили.

Дверь приоткрылась, показалась темноволосая девичья голова:

– К вам можно? – И не дожидаясь ответа, девушка вошла, закрыла за собой дверь.

Вряд ли жила она в общежитии, потому что пришла к нему в куртке, с большой сумкой через плечо. Девушка показалась ему смутно знакомой, определённо с ней раньше встречался,

не припоминал только, где и когда. Её появлению в позднее уже время не удивился: иногда к ним с Генкой и ночью наведывались обитатели не только общежития, но и близлежащих домов, когда срочно нужен им был врач. Смутило только, что предстал перед ней в одних трусах. Секунду поколебавшись, как лучше поступить: попросить её выйти, чтобы одеться, или, особо не церемонясь, прикрыться простынёй – могла бы она и сама догадаться сразу же скрыться за дверью, увидев его неодетым, чучело неотёсанное, – остановился на втором варианте. Выжидательно уставился на неё.

– Так вот как вы живёте, – сказала девушка, остановившись посреди комнаты и озираясь. – Для врача не очень-то. Вы Векшин, я не ошиблась?

Взглянула на него – и он узнал её. Верней, не её, а кто она. Так, мог не сомневаться, выглядела Зоряна в двадцать лет. И что совсем уж сразило его, были у неё такие же неодинаковые глаза: один тёмно-лиловый, другой тёмно-коричневый. Генетическая прихоть.

– А вы Марийка? – вспомнил её имя.

– Марийка, – удивлённо вскинула брови. – А как вы... – Не договорила, заулыбалась: – Уже догадалась, можете не отвечать. Ничего, что я к вам так поздно? Пока до Красноярска через Москву долетела, пока сюда на поезде, с мамой побывала. И не могла же уехать, не поблагодарив вас. Тем более что мы из одной альма матер. Папа как позвонил мне, как всё рассказал, как я засобиралась, как забегала, ужас! А о вас он мне всё рассказал, я вам подарок маленький привезла. Только вы не сопротивляйтесь, это я не покупала, это я сама. – Сняла с плеча сумку, вытащила из неё какую-то белую сложенную ткань, развернула, встряхнула, показала: – Нравится?

Это была мужская сорочка. Не обыкновенная – так называемая вышиванка, с вышитым посередине затейливым, гуцульских мотивов, узором.

Всё это было настолько неожиданно, застало врасплох, что Векшин лишь глазами хлопал. Не придумал ничего лучшего, чем состричь:

– Это вы успели вышить, пока добирались сюда?

– Естественно, – хохотнула она, – разве по мне не видно? И не только вышить, но и сшить, и прострочить, я швейную машинку в камере хранения оставила, чтобы не таскать с собой.

Марийка понравилась ему. И ничуть не портили её разноцветные глаза, скорей даже придавали её смуглому, с высокими скулами лицу какую-то редкостную, необъяснимую прелесть. Но не меньше по сердцу ему был этот её лёгкий, не на каждого рассчитанный клановый трёп, от которого уже почти отвык он здесь. Не понять лишь было, почему заговорила она с ним по-русски – не мог ведь отец не рассказать ей, как и почему мать оказалась в этой больнице. И вышиванку, собираясь сюда, неспроста же надумала подарить ему. Что-то прочувствовала, побывав сейчас у матери?

– Но вы мне ответите за манишку, – куражилась Марийка, – таких манишек теперь в продаже нет. – Вынула из сумки винную бутылку, поставила на стол. – Откажетесь – вышвырну её в окно. Не исключено, что и сама последую за ней. Но сначала вы должны взглянуть на этикетку. Вы хорошо видите, или поднести её поближе?

В том не было надобности. Сразу же узнал «Высокий замок», с его же изображением на этикетке. Высокий замок, место, заветное для львовянина, как тот же Арбат для москвича.

– Ну что, искусила? – шурилась Марийка. – По чуть-чуть, за здоровье моей матушки. Святое дело. Для вас же везла, разбить боялась, ночью глаз не смыкала.

– Искусила, – якобы безысходно вздохнул Векшин. – Вы отвернитесь, пожалуйста, я сейчас, к сожалению, не при галстукке, мне одеться надо. Только, боюсь, имеющаяся у меня в наличии закуска плохо соответствует букету этого ностальгического напитка.

– Да вы что? – очень правдоподобно испугалась Марийка. – Как вы могли подумать, что этот реликт мы станем чем-то закусывать? Пить его надо, забыли, что ли, пэр сэ, как говаривал наш латинист доцент Безверхий, вы, надеюсь, помните ещё его?

Через пять минут Векшин в спортивном костюме и Марийка, снявшая куртку, сидели за столом, потягивали из стаканов кисловатое вино, болтали. Повспоминали институт, нашли общих знакомых.

– А где ты, – были уже на «ты» – собираешься ночевать? – спохватился Векшин.

– На вокзале, где ж ещё, – пожала она плечами. – Ближайший поезд только завтра днём, я узнавала. Не беспокойся, выплусь там отлично, в дороге со всеми этими пересадками, ожидалками и трясушками намаялась под завязку. А утром приедет отец, маму проведает и меня заберёт. Притомилась я что-то, моченька не та уже! – Сладко, всем телом потянулась, туго натянув на груди тонкий чёрный свитерок.

И Векшин, с трудом отведя взгляд от этого впечатляющего зрелища, скомканным голосом сказал:

– Зачем же на вокзале? Это тебе не львовский вокзал, тут публичка та ещё, вполне можешь отца не дожидаться. Сожитель мой сегодня здесь не ночует, кровать его свободная. Свежее бельё, увы, предложить не могу, но всё ж не на вокзальной скамейке.

– Звучит завлекательно, – хмыкнула Марийка. – А ты не боишься скомпрометировать себя? Вахтёрша знает, что я к тебе пошла, спрашивала у неё, в какой ты комнате.

– Я, Марийка, – в тон ей хмыкнул Векшин, – достиг уже такой степени святости, что скомпрометировать меня невозможно.

– Тогда я с твоего позволения сейчас и лягу, – сказала она. – Правду сказать, здорово вымоталась, две ночи толком не спала, глаза слипаются.

Векшин и сам не знал, только ли из гуманных соображений пригласил он Марийку ночевать с ним в одной комнате. Забавным приключением, игрой случая здесь и не пахло – не забывал, чья Марийка дочь. И не стал ничего загадывать, положился на провидение, пусть всё будет как будет. Случайно ли так совпало, что именно на эту ночь Генка ушёл?..

Он наблюдал, как Марийка перевернула на другую сторону Генкину простыню, накрыла подушку извлечённым из сумки полотенцем. Подошла к зеркалу, погляделась в него, поправила волосы. Затем, не оглянувшись на Векшина, нисколько не комплексуя, принялась она стягивать через голову свитерок. Показался лифчик, тоже черного цвета, но не он заставил Векшина обомлеть. Марийкиного лица, скрытого сейчас под снимавшимся свитером, он не видел, но увидел под оголившейся левой мышкой её поднятой руки отчётливый синий трезубец...

## Хренотень

Юрка позвонил ночью, около двенадцати, мы уже спать легли. Я сразу встревожился, услышав его голос, – не тот Юрка человек, чтобы без крайней надобности побеспокоить нас в столь позднее время. Познакомился, а потом и сдружился я с ним ещё на вступительных экзаменах в медицинский институт, шесть лет проучились в одной группе, и оба расстроились, не сумев распределиться в одну больницу. Юрка укатил вообще к чёрту на кулички, я – в небольшой районный городок в сотне километров от альма-матер. Рассчитывали мы, отработав три положенных года, а если удастся, то и пораньше, вернуться в родной город, но судьба распорядилась иначе. Юрка там женился, оброс бытом, прикипел к тем краям, вскоре заведовал уже хирургическим отделением и вообще пришёлся ко двору – от добра, как говорится, добра не ищут. У меня и личная, и врачебная жизнь сложилась не так удачно, а домой я вернулся спустя четверть века. Но речь сейчас не обо мне. Да и не о Юрке тоже.

Юркина мама, Ирина Семёновна, теперь уже в годах серьёзных, ближе к восьмидесяти. Раньше заведовала она кафедрой органической химии, большинство здешних врачей когда-то учились у неё. Лет десять тому отошла уже от дел, похоронила мужа, жила с незамужней дочкой, Юркиной старшей сестрой, тоже врачом. Но три года назад, я уже вернулся, дочь её погибла, осталась Ирина Семёновна одна. Юрка звал её к себе, но отказалась она уехать от мужниной и дочкиной могил. Вот о ней и речь.

Даже если б Юрка не попросил меня приглядывать за мамой, я бы не забывал о ней. Была она для меня не Ириной Семёновной, а тетей Ирой, потому что, с того же первого курса начиная, не просто часто бывал я у них – чуть ли не как к себе домой заявлялся, все шесть институтских лет. И потом, когда Юрка уехал, старался навещать её. Или звонил, если не успевал забежать. Не только потому, что Юркина мама. Мы, можно сказать, дружили, мне всегда было с ней интересно.

Случалось, чаёвничали мы и болтали, даже когда не заставал я Юрку дома, возрастная разница нам не мешала. В институте тоже любили её, не припомню никого, кто бы плохо о ней отозвался. И это при том, что преподавала она нудноватую и, как нам, первокурсникам, казалось, ненужную и далёкую от медицины науку. Больше того, сумела она так читать свои лекции, что почти никто с них не сачковал, хотя перекличек не делала. И ни с кем не сюсюкала, не заигрывала, предпочтений никому не отдавала, на зачётах и экзаменах спуску никому не давала, даже мне с Юркой.

Но, как уж водится, нет правил без исключений. Всяко, конечно, бывало, а я из-за Ирины Семёновны даже полез однажды в драку. С Никитой Петровым. Кличка у него была – Хренотень. Откуда он выкопал это несуразное словцо, ранее мною вообще не слыханное, почему так полюбилось оно ему, что вставлял его где надо и где не надо, сказать не берусь. Заменяло оно ему любое другое, говорившее о том, что чего-то он недопонял или не нравится ему что-то. «Это что за хрено-тень?» – сплошь и рядом. Все мы – не школяры ведь, студенты уже – сразу отказались от былых школьных привычек звать друг друга короткими, производными в основном от фамилий прозвищами, и только к Никите Петрову едва ли не с первых же дней приклеилась эта Хренотень. И он, что удивительно, не обижался, не возражал, ему, похоже, это даже почему-то нравилось, словно какой-то особенности, значимости, что ли, прибавляло.

Хотя и того и другого ему не занимать было. В институт он пришёл после армии, был постарше многих из нас, а главное – один из немногих на курсе членов партии, что ценилось в те поры ни с чем не сравнимо, вскоре заделался он парторгом курса, членом факультетского бюро. Парень к тому же был видный, рослый, нашивал, единственный на курсе, мужественные рыжеватые усы. Он и в студенческом общегитии входил в какой-то руководящий совет, везде попевал. При таких-то достижениях вполне мог бы не особенно напрягаться в учёбе, у

кого из преподавателей рука поднялась бы посягнуть на такой авторитет. Напрягаться, однако, приходилось.

Из какого-то дальнего селения, где и школы-то приличной не было, потом ещё два года оттрубивший в железнодорожных войсках, познаниями обладал он хилыми. Только удивляться оставалось, как умудрился он при таком жёстком конкурсе, пусть и при всех своих периферийных, партийных, армейских и прочих льготах, поступить в медицинский. На «блатного» он уж никак не тянул, по всему было видать. Это потом уже, начиная с третьего курса, пообтёрся он немного, приспособился, более или менее соответствовал какому-то приемлемому уровню, на первых же двух, особенно на первом – совершенная дремучесть, словно вообще никогда ничему не учился, азов не знал. Органическая химия для него – тайна за семью печатями, лишь посочувствовать ему оставалось. Любого другого сходу вытурили бы после первой же сессии, но всё-таки, это понимали все, заслуживал он снисхождения, выборочного к себе отношения. К тому же весь первый курс красноречиво проходил он в вылинявшей солдатской форме со споротыми погонами. Помогали, шли ему навстречу. Кстати сказать, отнюдь он не бедствовал, не нуждался, как большинство таких же общежитских, сельских в основном ребят: отец его, узнали мы позже, был председателем колхоза, добротная кормёжка у него не переводилась, мог бы не прибедняться. Но было бы несправедливо не отметить, что мужичок он настырный, усидчивый, зубрил старательно.

А подрался я с ним прямо на кафедре, в коридоре, когда на первой нашей сессии сдавали мы экзамен по органической химии. Принимала сама Ирина Семёновна. Петров из своих каких-то соображений сдавать пошёл самым последним, застрял надолго. В нашей группе тогда уже зарождалась традиция не расходиться пока все не пройдут через экзаменационное горнило, болели друг за друга. Дождались и Никиту. Наконец он появился, красный, взмокший, злющий. О том, как сдал, можно было не спрашивать.

– Ну как ты? – спросил я.

– Завалила, – хмыкнул. – А чего от неё другого ждать?

– Не понравилось ей, как отвечал?

– Ей, кажись, другое не понравилось, не понятно разве?

– Что другое? – не понял я.

– Фамилия моя ей, видать, не понравилась! – насмешливо дернул усами. – Русская моя фамилия! А может, и ещё что, почище! Жидовка пархатая!

Злость, известно, плохой советчик. В том случае – не только для него, но и для меня. В Ирине Семёновне, смуглой и темноглазой, не было, я знал, ни капли еврейской крови. Во мне – была, дедушкина четвертинка. Но не потому вскипел я, накрыло вдруг меня. Всегда противны были эти фашистские мерзости, это его «пархатая», и вообще как-то всё тут совпало, одно к одному. Впрочем, это и дракой-то назвать было нельзя, просто двинул я ему по глумливой роже. Не изо всей силы, но тем не менее. Я раньше боксом занимался, разряд имел, но шансов у меня, если бы бросился он на меня, было маловато – он намного выше меня и килограммов на двадцать тяжелей. Но он не бросился. Причин тому, скорей всего, две. Рядом со мной мгновенно вырос Юрка, Никита отчётливо понимал, что подраться один на один у него сейчас не получится. Но более вероятно, что он, не мне, мальчишке, чета, сразу же просчитал, во что может вылиться для него эта драка в институтских стенах. Да и не только драка, повод к ней тоже, дальше меня вперёд смотрел. Поквитаться со мной мог бы и попозже, в более подходящих условиях.

Все застыли, уставившись на нас. Никита, выгадывая время, медленно вытер ладонью губы, сумел презрительно усмехнуться:

– А ты, гадёныш, тоже, значит, один из них? Твоё счастье, что руки о такое как ты дерьмо марать не хочется. Ничего-ничего, я тебе эту хренотень ещё припомню, пожалеешь, что на свет народился, сучонок...

Следующие несколько дней ожидал я, что где-нибудь подловит он меня, а Юрка, я видел, старался меня одного не оставлять, после занятий, как я ни сопротивлялся, до самого дома провожал. Никита, однако, должок мне не вернул, понял, наверное, что себе дороже. Но злопамятен был, долго ещё старался он при каждом удобном случае зацепить, уязвить меня, а на третьем курсе, он тогда уже в хорошем фаворе был, подгадил мне так, что я едва из института не вылетел, вспоминать не хочется. К слову сказать, Юрка после той стычки разузнал у мамы, как принимала она у Петрова экзамен. Ирина Семёновна тоже учитывала, кто перед ней, старалась хоть как-то вытянуть его на трояк, долго с ним возилась, но, удостоверившись в полнейшей бесперспективности этого, отправила ещё подучить. Потом всё-таки не стала его топить, приняла, тем паче что приходили к ней попросить об этом из партбюро. И где мытьём, где катаньем добрался таки Никита до четвёртого курса. Ну а там изменила ему удача, почему, собственно, так подробно я об этом и рассказываю.

Проходил тогда наш курс цикл на кафедре психиатрии и наркологии. Возглавлял её профессор Загурский, личность совершенно уникальная. Он и внешностью обладал незаурядной: артистическая полуседая грива, усы роскошные, голос – Левитана не надо. А лекции как читал! – с других факультетов приходили послушать. И в жизни моей он сыграл определяющую роль: увлёкся я этой специальностью, на последних курсах медбратом в его клинике подрабатывал, и что я, получив диплом, стал психиатром, несомненная его заслуга. Он же заинтересовал меня гипнозом. По тем временам в лечебной практике он редко применялся, настоящие умельцы, профессионалы, в городе наперечёт были.

Об искусстве Загурского ходили легенды. Удавалось ему вытаскивать из бездны людей, считавшихся обречёнными. Слава его перешагнула областные рубежи, стекались к нему пациенты из других городов, случалось даже, столичных. Свидетелями одной из самых блестящих его побед стала на четвертом курсе наша группа, обучавшаяся в то время на кафедре Загурского.

Это была очень привлекательная девушка, доставили её сюда из Ленинграда. Было ей восемнадцать лет, и это одна из самых трагических историй, какие мне, немолодому сейчас и немало повидавшему уже врачу, доводилось встречать. Дина её звали, имя до сих пор в памяти сохранилось. Историю эту рассказал нам её палатный лечащий врач. Тогда ни в какое сравнение не шла Дина с той, какой её мы потом увидели. О том, что привлекательна она и даже очень, догадаться можно было лишь по её густым каштановым волосам и редкостного василькового цвета глазам. Есть такое расхожее выражение – «кожа да кости», когда говорят о сильно исхудавшем человеке. О Дине сказать это можно было в прямом, не переносном смысле слова. Скелет, обтянутый кожей, удивляться оставалось, как и чем она ещё живёт, в чём держится её изувеченная душа. И как сумела перенести неблизкую дорогу из Ленинграда...

В Ленинграде, нынешнем Санкт-Петербурге, коренные жители, объяснять почему не нужно, составляют незначительное, увы, меньшинство. И того меньше, опять же увы, осталось тех родовитых, славных традициями домов, где свято хранятся, не выветрились ещё светские, не в современном звучании этого слова, обычаи. Где ещё не позабылось, например, правило выходить к столу соответственно одетыми, а стол этот должен быть соответственно сервирован. Их, конечно же, и в те мои давние студенческие годы было уже совсем мало, но тем не менее. В одном таком довелось мне однажды волею случая побывать, впечатлился на всю оставшуюся жизнь. А те званые ужины, изысканные приёмы с тщательным отбором приглашённых – это даже не повод для каких-либо сравнений, отдельная песня. И не о том речь благо это или не благо, надобно или нет и вообще рационально ли – это не более чем констатация факта, просто легче будет дальше рассказ вести. Потому что на приём в такой как раз питерский дом и попала Дина. Попала тоже случайно, пригласила школьная подруга. А был это к тому же не обычный приём – хозяин дома, маститый композитор и дирижёр, принимал своего французского коллегу с мировым именем, прибывшего на гастроли. Проводилось всё уже не по высо-

кому, а высочайшему уровню, на карту в некотором роде поставлен был престиж не только одного хозяина дома.

Дина тоже не из простецкой семьи, дочь влиятельного городского начальника, в доме том бывала и раньше, разве что за пределы подружкиной комнаты не выходила. И была совершенно ошеломлена, оказавшись в обществе блистательных гостей – богемная элита, дамы почти все в длинных вечерних платьях, многие мужчины во фраках. Хорошо ещё, что не просто заглянула она случайно в тот вечер к подруге, – заранее была предупреждена, надела лучшее своё платье, голубое, туфельки красивые, попросила у мамы на вечер изящные бирюзовые сережки. Так что Золушкой среди них не выглядела, не очень-то комплексовала. Но сражена была, когда пригласили всех в столовую, к накрытому уже столу, сверкавшему, как новогодняя ёлка. Не видела она никогда ни такой роскошной, чуть ли не музейной посуды, ни таких вычурных фужеров, белейших, охваченных сановитыми медными кольцами туго накрахмаленных салфеток. Но более всего смутило её обилие столовых приборов, всех этих окаймлявших тарелки неясного назначения ложек-ложечек, вилок-вилочек, ножей-ножичков. Тут же решила, что ни к чему не притронется, пока не увидит, как обходятся с этим остальные. И вообще не станет есть какое-нибудь незнакомое яство, поостережется. А того лучше – вообще не есть, сослаться на отсутствие аппетита.

Но если бы только это. Среди приглашённых оказался молодой человек, очень талантливый и уже известный, как шепнула ей подружка, пианист. И был он к тому же хорош собой, высок, строен, с романтическими длинными прядями. На Дину он обратил внимание, едва та появилась в гостиной. Подошёл, красиво склонил голову, попросил Динину подружку представить его «очаровательной синьоре», и потом уже не отходил от неё. В довершение ко всему оказался он приятным, остроумным собеседником. Играла тихая музыка, плавилось её сердечко. Очарованная Дина сразу влюбилась в него, чувствовала, что тоже понравилась ему и пребывала от счастья на пресловутом седьмом небе.

За столом он, конечно же, сел рядом с ней, ухаживал, развлекал. Дина, польщённая вниманием такого кавалера, расцвела, вполне уже освоилась, ни бокал её, ни тарелка его заботами не пустовали. А пианист, то ли в настроении мажорном был, то ли посчитал, что лучший способ расположить к себе девушку – смешить её, шутил, рассказывал анекдоты. Очередная шутка была особенно удачной, на ту беду рот в это время у Дины был несвободен, она, расхохотавшись, поперхнулась, закашлялась – и стошнило её прямо на стол, во рвотных массах извивались мелкие белые аскариды...

Очнулась она на диване в комнате подружки, возле неё сидела мама. Дина сообразила, что это подружка позвонила, вызвала маму, но сколько пролежала так, без сознания, сказать не смогла бы. В памяти всплыло ужасное недавнее происшествие, её снова стошнило...

Дома она легла, отвернулась лицом к стене – и с этого момента ни единого слова от неё не услышали, а от одного лишь вида какой-нибудь еды сразу начинало её тошнить. И чем дальше, тем хуже...

Началась битва за её жизнь. За жизнь, без преувеличений. Ленинград, северная столица, город, понятно, с огромными возможностями, а у Дининого отца была возможность привлечь к спасению дочери самых известных медицинских светил, класть её в самые престижные больницы, испробованы были самые современные методы и препараты, гипноз, кстати, тоже, и неоднократно, но всё без толку. Иногда удавалось влить в неё несколько ложечек подкисленной воды. Но так она и не заговорила, и не реагировала ни на что. Дина быстро угасала, это становилось очевидным.

Кто-то посоветовал отцу обратиться за помощью к Загурскому, якобы чуть ли не единственный он, кто способен ещё помочь. Отец созвонился с профессором, получил его согласие заняться дочерью. Одолев все трудности и проблемы такого перелёта, Дину доставили в клинику Загурского.

Такого прецедента клиника ещё не знала. Загурский две недели подряд ни чем и ни кем другим почти не занимался, всё свое время посвящал Дине, которой отведена была отдельная палата. Словно на карту была поставлена его профессиональная честь. Впрочем, так оно, скорей всего, и было, кто более или менее знаком с затейливым врачебным миром, поймёт, что не одно только желание помочь несчастной девушке двигало Загурским.

И чудо свершилось. Дина уже к концу второй недели начала понемногу разговаривать, затем проглотила столовую ложку молока с медом, сама попросила пить. День за днём, шажок за шажком отвоёвывал её Загурский у вечности, с начала третьей недели она быстро, точно навёрстывая упущенное, пошла на поправку. Общалась уже не только с Загурским, с аппетитом ела, заметно прибавляя в весе, и когда мы впервые увидели её, была уже очень худенькой, конечно, но миловидной и вовсе не вызывавшей сострадания девушкой. Профессор готовил её к выписке.

И произошло ещё одно чудо, не сравнимое с этим, конечно, но событие в наших масштабах значительное. Наш удалой Никита Петров, не дававший в общежитии проходу ни одной крупной, дородной девахе – других он просто не замечал, – влюбился в Дину. Да как ещё. Каждый день, при первой же выпадавшей возможности, и в выходные дни тоже, просиживал, пока не выгоняли его, в её палате, цветы даже приносил – это Никита-то! Нас очень забавляло это больничное ухажёрство. Сестрички доносили нам, что никакого впечатления он на Дину не произвёл и хоть какая-то взаимность нисколько ему не светит, просто терпит она его присутствие – в белом халате, почти врача уже, – не позволяет себе запретить ему околачиваться здесь. Не мог Никита не чувствовать это, но, настырный и самолюбивый, не сдавался, неведомо на что всё-таки надеялся.

А затем произошло непоправимое. В тот роковой день Никита, рисуясь, рассказывал ей, каких невысказанных высот достигла современная медицина. Ну вот взять, к примеру, её случай. Она небось думает, что свершилось нечто невероятное, милостив оказался к ней Господь, не дал сгинуть, а ничего тут нет невероятного, никакого Господа, обыкновенный медицинский гипноз. Он, Никита, пусть она знает, тоже интересуется гипнозом, есть уже определённые успехи. Вот, к примеру, как её вылечил Загурский? А он сумел внушить ей, что никакого вычурного сборища гостей в её жизни не было, не вырвала она тогда при всех прямо себе в тарелку на ужине, не устраивала истерики. Сумел Загурский начисто вытряхнуть это у неё из мозгов, дело мастера боится...

Договорить не успел. С Диной случился сильнейший припадок, забились в судорогах, открылась неукротимая рвота. К счастью, Загурский ещё не ушел. Хотя, к какому уж тут счастью... Теперь и он был бессилён. Дина снова отвернулась к стене, замолчала, отказывалась даже от воды. Усугубляло катастрофу, что почти невозможно было не только подкормить её через зонд или внутривенно – от любого к себе прикосновения сотрясал её очередной приступ, рвать уже могла лишь чёрной желчью. К концу недели она умерла.

Никиту Петрова исключили из института. Никто не смог его спасти, даже сам ректор, к которому не зарастала тропа разномастных ходатаев за Никиту. Свершить такое в нашем институте мог, пожалуй, только один человек – профессор Загурский, с его авторитетом, мировым именем и влиянием. Но добился профессор не только этого – настоял на том, чтобы в записи была уникальная формулировка «исключён за кретинизм». Уверен, что ни до того, ни после никому такое не выпадало, и не только в нашем институте. И уж наверняка слух о столь редком событии разлетелся по всем медвузам страны. Вот такая хреновенькая.

С того дня ничего я о Петрове не слышал. Куда он делся, чем занимался – неведомо. В одном можно было не сомневаться: с таким клеймом была заказана ему дорога в любой медицинский вуз. Разве что сварганил себе другие документы. Но вряд ли – это сейчас раз плюнуть, всякие аферисты и махинаторы занимаются подобным бизнесом совершенно не таясь, только заплачу. А в те поры о таком никто даже помыслить не мог, государственное преступление,

со всеми вытекавшими последствиями. Но, думалось мне, при таком папаше Никита всё-таки не пропал, где-нибудь хлебно, а то и масляно пристроился. Впрочем, дальнейшая судьба его мало меня беспокоила...

Дела давно минувших дней. Встревожил меня этот поздний Юркин звонок, сразу же заподозрил я неладное. И не заблуждался. Юрке позвонила мамина соседка, сказала, что Ирина Семёновна в больнице. Уже третий, оказывается, день. Случилась с ней та гадкая и нередкая беда, не минуют которой многие старики. Упала она и сломала шейку бедра.

А Юрка прямо сейчас никак не может прилететь, потому что дочь его со дня на день должна родить, выявили у неё неправильное положение плода, была угроза самых нежелательных осложнений. Еще и в больнице у него завал, в отделении много тяжёлых больных, вот только-только вернулся домой после операции, попробует хоть пару часов поспать до работы. Я прикинул, что там у него уже скоро светать начнет, посочувствовал Юрке. И, конечно же, пообещал ему завтра же навестить Ирину Семёновну, позаботиться о ней.

Правду сказать, в последнее время названивал я Ирине Семёновне не часто. А не заходил к ней уже больше месяца. К тому же договаривались мы с ней, что она тут же даст мне знать, если потребуется моя помощь. Для своего преклонного возраста была она достаточно ещё крепкой и выносливой, в чьей-либо плотной опеке не нуждалась. По характеру своему вообще никого не любила загружать своими проблемами, в том числе и меня. Возмутилась, когда я однажды предложил ей взять себе в помощь социального работника. За кого, мол, я её принимаю, она вполне ещё в состоянии сама о себе позаботиться. Делала по утрам какую-то специальную зарядку, в любую погоду перед сном гуляла. Ногу, я потом узнал, она сломала как раз во время этой хитрой зарядки, но это так, к слову. А той соседке, с которой дружила, запретила сообщать о случившемся сыну, та сама проявила инициативу, нашла в её записной книжке Юркин номер телефона. Меня Ирина Семёновна тоже не сочла нужным, как она выразилась, обременять.

К удаче моей, лежала Ирина Семёновна в травматологическом отделении больницы недалеко от моего дома, куда привезла её скоромощная машина. Ей повезло меньше – репутация у этой больницы была неважнецкая. И не в том только дело, что состояла она из убогих, основательно траченых временем корпусов, а палаты в них были в большинстве своём огромные, несуразные, человек на шесть-восемь каждая, с одним на всех туалетом в конце длинного коридора. Не однажды мне доводилось там бывать, впечатление оставалось тягостное. А уж травматологическое отделение, где большинство больных неходячие, лечатся долго, а санитарок днём с огнем не сыщешь – самое там захудалое и запущенное. Как-то исторически так сложилось, что сильными, знающими профессионалами никогда эта больница похвастать не могла, не приживались они в ней и не стремились попасть туда больные. Не гоже и не принято хаять коллег, не порядочно это, но, как говорится, из песни слова не выкинешь. Не повезло, одним словом, Ирине Семёновне.

Я навестил её следующим днём, благо принимал во вторую смену и первая половина дня была у меня свободна. Описывать прелести её палаты теперь уже нет надобности, куда сильней обескуражило меня другое – замурована она была в чудовищный гипсовый корсет, переходящий в так называемый «сапожок». Я не травматолог, особыми знаниями в этой сфере не владею, могу лишь сказать, что такой примитивный способ иммобилизации применяли ещё при царе Горохе. Встретился с её лечащим врачом, молодым, но отяжелевшим уже парнем в измятом халате. Я, заглянув в ординаторскую, извинился, представился, давая понять, что не обычный я посетитель и как его коллега вправе рассчитывать на соответствующее к себе отношение. Нисколько, однако, этим его не кольхнул, велел он мне подождать, и проторчал я за дверь, дожидаясь, пока позволит он мне приблизиться к его столу, не меньше получаса. Хотя никого, кроме него, в кабинете не было, мог бы он на несколько минут оторваться от

своей писанины или чем он там занимался. И разговаривать со мной мог бы полюбозней, хотя бы потому ещё, что по возрасту в сыновья мне годился.

Но он в этой истории особой роли не играет, могу лишь дополнить, что и познаниями своими он меня тоже не впечатлил. Тем не менее всё интересовавшее меня я у него выведал, а обсуждать ситуацию с ним не имело смысла, нужен был по крайней мере уровень заведовавшего отделением. С ним повезло мне больше, к тому же узнал он меня, где-то мы с ним пересекались, легче и проще было общаться. К тому же во всех отношениях не чета он был тому своему быдловатому ординатору. Речь я, естественно, завёл об этом злополучном «сапожке», в котором Ирине Семёновне наверняка туго придётся. Я, повторюсь, знаком с травматологией лишь постольку поскольку, но есть вещи очевидные, известные даже не медику. Переломы шейки бедра, особенно в пожилом возрасте, грозны прежде всего осложнениями. Страдалец этот вынужден длительное время лежать пластом, в таком корсете вообще без вариантов, порой месяцами. И ещё не самая большая беда, что это мучительно, жизнь делается невыносимой. Для немощных стариков это вообще почти всегда приговор. Уже потому, что из-за плохого кровоснабжения сращение костей у них более чем проблематично. И быстро погибают они от тяжких и неминуемых бед – застойной пневмонии, переходящей в отёк легких, острой сердечной недостаточности, с которыми не в состоянии порой справиться никакая медицина. И совершенно иные, несопоставимые перспективы у тех, кому проводят эндопротезирование. Такие операции нынче сплошь и рядом делают даже в не самых цивилизованных странах, давно позабыли об этих пыточных корсетах и сапожках.

Это я не сомнительную свою эрудицию демонстрирую, это я поясняю, зачем искал заведующим отделением и чего от него хотел добиться. Не говоря уж о том, что Ирина Семёновна, профессор медицинского института, обучавшая не одно поколение врачей, вправе была рассчитывать на другое к себе отношение. И что, как выяснилось, этот зав отделением не поинтересовался, какая поступила к нему пациентка, а Ирина Семёновна не афишировала себя, решающей роли не играло.

В беседе с ним многое для меня прояснилось. Главная причина – самая банальная: нет в отделении этих эндопротезов, тут даже при всем желании ничего изменить было нельзя. Я возразил, что можно ведь занять у кого-нибудь, такое у нас в порядке вещей, и сейчас ещё не поздно. Ответил он, что дело это проигрышное, их давно нет ни у кого в городе, уж ему-то хорошо известно, все в таком же положении. К тому же конец года, все лимиты исчерпаны. Я сказал, что не те сейчас времена, чтобы невозможно было чего-то достать. Я, в конце концов, куплю этот протез. Он остудил мой пыл, сказав, что сомневается, способен ли я выложить за качественный импортный, а говорить можно лишь о таком, протез почти четверть миллиона. Рассчитывать приходится на государственную подмогу. И надо ещё быть уверенным, что досталось тебе именно то, что нужно. Он, а печальный опыт такой имелся, не советовал бы вставлять протез, купленный где-нибудь на стороне и неизвестно у кого. Того и гляди нарвёшься на контрафактный. Я не поверил, что нет в городе человека, способного решить этот вопрос, опять же не то сейчас время, перестройке уже почти два десятка лет.

– Почему нет? – пожал он плечами, – есть. Но слишком высоко он сидит и не так-то просто до него достучаться. Там против лома нет приема.

– Наш министр, что ли? – предположил я.

– Не министр, зам его, этими вопросами ведающий. Вы просто, я вижу, в этих делах не в курсе, иначе знали бы, как и, главное, кем это делается. Не на всякой кобыле к нему подъедешь – абсолютная монополия, мэр города отдыхает.

– Так научите меня, если вы в курсе, какая нужна кобыла, – попросил я. – Разве Ирина Семёновна не заслужила?

– Тут разве чему-то учить надо? – снова усмехнулся он. – Вы, между нами, знаете, сколько стоит его подпись?

Я начал заводиться. Послушать его, так ни на кого управы нет. В конце концов, вовремя я вспомнил, у меня когда-то лечилась тёща мэра. Посмотрим ещё, отдыхает наш мэр или не отдыхает.

– Как его фамилия? – спросил.

– Неужели в самом деле не знаете? – удивился зав. – Он, правда, у нас недавно, с год всего, но репутацию обрёл железную. Из Москвы засланец. Как у нас тут все полагают, прислан с прицелом на министерское кресло. А фамилия у него самая простая. Петров его фамилия.

Распрошавшись, стал я думать, как быть дальше. И придумал. Я позвонил Андрею. Андрей, институтский мой товарищ, из нашей же группы, преуспел больше любого из нас – защитился, главный врач крупной ведомственной больницы. За время, что отсутствовал я в городе, связи с бывшими моими однокашниками оскудели, почти ни с кем из них тесно не общался, встречался только от случая к случаю. Я и с Андреем недавно встретился случайно, в магазине. Он, надо отдать ему должное, вовсе не забронзовел, потрепались мы, по кружке пива выпили, телефонами обменялись. У нашей профессии много издержек, но есть и бесспорные преимущества. «Агентурная» сеть наша, особенно когда долго на одном месте врачуешь, велика и неизбывна, в той или иной мере полезные знакомства сыщутся во всех приходах нашей скорбной обители. Бывшие и нынешние пациенты при какой-нибудь надобности редко откажутся посодействовать. Сейчас, конечно, не те уже времена, когда знакомства с каким-нибудь, к примеру, мясником или билетным кассиром за большую удачу почитались, но система ещё не изжила себя, исправно функционирует, просто дефицит теперь иной, масштабы другие. И чем выше эскулап к небожителям, тем полновесней возможности. У Андрея, соответственно, несравнимые с моими, тёща мэра не в счёт, это просто выпало так мне однажды негаданно, да и не уверен я, что взялась бы она мне помогать. И кто их знает, тёща эта, может, зятю поперек горла стоит. Да и обратиться к ней, даже ради Ирины Семёновны, было бы для меня неподъёмным испытанием.

Андрей, к счастью, не оказался, как опасался я, «временно недоступен» и «мог говорить». Рассказал я ему о случившемся с Ириной Семёновной, спросил, есть ли у него выход на этого Петрова из министерства. И услышал в ответ:

– Какого Петрова? Никиту Мефодьевича?

У меня чуть мобильник из руки не вывалился:

– Это что, Никита Петров, который с нами когда-то учился, усатый такой прохиндей?

Андрей, видать, тоже опешил, потому что заговорил снова не сразу.

– Во, блин! Мне и в голову не приходило! А ведь точно он, Хренотень! И ведь не узнаешь его: живогастый стал, очкастый, облысел и усы куда-то подевались!

– Так его же погнали из института без права восстановления! Он что, без врачебного диплома обходится?

– Мне откуда знать, извернулся, значит, как-то, не пропал! Только как же он без диплома: доктор наук, между прочим, он и в Москве не в задах ошивался!

– Охренеть! А ты мог бы выйти на него?

Андрей сомнительно гмыкнул.

– Мог бы, вообще-то, Хотя, честно говоря, особого желания не испытываю, как-то у меня с ним не очень. Разве что ради Ирины Семёновны. Но я же сейчас в Москве, совещание тут у нас, ещё недельку дело потерпит?

– Не потерпит, – вздохнул я, – разве ты не понимаешь?

– Тогда вот что. Слушай внимательно. Секретарь там Анна Николаевна, старая моя приятельница. Не последний человек. Скажешь, что от меня, объяснишь, она тебя к нему проведёт, пособит. Я ей сейчас позвоню.

Я поехал в министерство. Было над чем поразмыслить. Я для Никиты не самый удачный, мягко выражаясь, проситель, а Ирина Семёновна не лучший объект для его благодея-

ний. Потому что, уверен был я, вряд ли забыл он ту историю на первом курсе, не таков Хрентень, чтобы и через тридцать лет не поквитаться. Андрей его не узнал, а он, интересно, узнал Андрея? И узнает ли меня? Я теперь в отличие от Никиты обзавёлся не только усами, но и бородкой, поседел изрядно. А если не узнает, не вспомнит, надо ли говорить ему, что хлопочу за Ирину Семёновну? Уж её-то он наверняка не забыл. Сказать, что радею за какую-нибудь свою родственницу? Чем сможет пособить мне эта Анна Николаевна? И как чаще всего в подобных случаях поступал, решил ничего наперёд не загадывать, действовать в зависимости от того, как станут разворачиваться события. Предполагал, однако, что если всё-таки вспомнит Никита меня, то повести себя может диаметрально противоположно. В первом варианте сначала, конечно, покуражится всласть, отведёт душеньку – покажет кто теперь он и кто для него я. А перед тем как всё-таки снизойдет до такой мелюзги, так на мне потопчет, что день и час этот проклянёшь. И ради удовольствия поизгаляться надо мной никакого протеза может не пожалеть, с барского-то плеча. Я же ради Ирины Семёновны вынужден буду молча сносить эту фанаберию, желчь глотать. Но был и другой вариант, не менее вероятный: дальше порога меня не пустит, больше минуты слушать не станет – слишком занятой он человек, чтобы на такое фуфло время своё драгоценное тратить. Тогда что? – на венценосную тещу уповать? Да и рекомендованная Андреем пособница не казалась мне надёжной – какая-то секретарша всего лишь, не более того.

Но Анна Николаевна оказалась не «какой-то» секретаршей, об этом судить можно было уже по тому, как выглядела она – благородно лилово-седовласая, прямоспинная, с тем выражением посвящённости на лице, что сразу даёт понять, какого полёта птица. Но прежде всего по тому, как она, по-свойски тукнув согнутым пальцем в дверь, вошла в петровский кабинет не дождавшись разрешения. Меня же она встретила приветливо, сказала, что Андрей Ильич ей звонил, а Ирину Семёновну, оказывается, знает она, посетовала, что такая беда с ней приключилась. И что повезло нам, у Никиты Мефодьевича сейчас как раз никого нет, можно спокойно поговорить. Вышла от него через пару минут, сказала, что Никита Мефодьевич ждёт меня.

Прав был Андрей, в самом деле непросто было узнать в этом грузном, оплешивевшем, в сильных очках человеке бывшего бравого, поджарого усача. Зато меня он узнал, растительность на лице меня не спасла, глаз у него был по-прежнему зоркий, цепкий, толстые стёкла очков не помеха. Он даже – вот уж память! – трудную фамилию мою умудрился вспомнить. И что поразило меня – улыбнулся мне радушно, пригласил к столу, предложил сесть поближе.

– Ну, привет, привет, Номоконов, целую вечность не виделись, давай, рассказывай кто ты, где ты, как живёшь-можешь!

Откровенно сказать, приятно мне стало, что так хорошо он меня встретил, честь оказал, не корчил из себя никого. Я вкратце поведал ему, где, когда и кем работал, чем сейчас занимаюсь. Никита, слушая, ритмично кивал головой, не понять вот только было, удовлетворённо или просто фиксируя мною сказанное. Затем, сокрушено вздохнув, изрёк:

– Я, вообще-то, думал, что ты далеко пойдешь, парень, помнится, был с характером. Но ничего, работёнка у тебя не хуже любой другой, стараешься, молодец. Меня, признаться, другое удивляет. Мне Анна Николаевна доложила, зачем ты пожаловал, обо всей этой хрентени. Удивил ты меня здорово, Номоконов, не ожидал, признаться, от тебя. Такой ведь принципиальный парень был, комсорг группы, куда что подевалось...

Он говорил, говорил, а я сидел перед ним и лишь удивлялся, что безропотно выслушиваю всю эту бодягу, не ухожу, бросив ему на прощанье парочку не самых ласковых слов. Вот же, оказывается, сволочь я какая: спекулирую своими знакомствами, ловчу, выгадываю. Разве у этой бывшей химички есть какие-либо преимущества перед, к примеру, простым трудягой с комбайнового завода или труженицей полей? Они что, своим трудом меньше заслужили у государства чуткого к себе отношения? Мы что, в безвоздушном пространстве живём, не видят

ничего наши люди, не понимают? Не стыдно мне заниматься этой хренотенью? А его, руководителя, в какое положение сейчас я ставлю?..

Сам себе противен я был, что, ни слова больше не сказав, покинул его кабинет, разве что дверью за собой посильней хлопнул. Не бросил в его самодовольную рожу то слово, которым заклеил его когда-то профессор Загурский. Нет, не забоялся я, чего, в конце концов, было бояться мне, рядовому поликлиническому психиатру, плевать мне на него. А ведь не плюнул. Потому, может, что противно было связываться с ним, доказывать что-то ему, подонку? Или атавистично подействовал на меня несокрушимый, громадный, с несколькими телефонами на нём стол, а не его хозяин? Или это я уговариваю так себя, самолюбие своё щажу, слабак? Да что там, слабак ведь, слабак, я, без раздумий давший ему когда-то по морде... И я ли один такой? Быть, быть Никите министром...

А эндопротез Ирине Семёновне всё-таки вставили, и без тёщи обошлось. Кстати сказать, не моя это заслуга. Но это уже другая история, не про меня и не про Никиту-Хренотеня. Главное, что Ирина Семёновна ходит уже сейчас, с палочкой, правда, но уверен я, зная её характер, что скоро и палочка ей не понадобится...

## Шавка

Мне, врачу с почти четвертьвековым стажем, как-то ни разу не доводилось раньше сталкиваться с эпилептическим припадком. Ни в стационаре, ни вне его. И поэтому растерялся поначалу, увидев рядом со своим подъездом забившегося в судорогах бородатого, немолодого уже мужчину. А зрелище это – кто видел когда-либо, знает – просто кошмарное, оторопь берёт. Возле него, беспомощно озираясь, топтался в нерешительности мужичок бомжеватого вида. Воскресенье было, раннее утро, я налегке выскочил в магазин, хлеба дома не оказалось. Секунду-другую помедлил, заплотшно глядя, как корёжит поверженное тело эта напасть, прозванная в народе падучей, всматривался в искажённое мукой посиневшее бородатое лицо...

В голове моей что-то наконец прояснилось, вспомнил, что главная забота сейчас – не дать ему погибнуть от асфиксии, задушив себя собственным запавшим языком. Всплыло в памяти, что надо просунуть между зубами, чтобы тот заодно и не откусил его, какой-нибудь предмет, ложку, например, или краешек пальто. Ни пальто в это в июньское утро, ни тем более ложки у меня не было, лихорадочно огляделся, ничего подходящего вокруг не приметил.

– Чё это с ним? – плачуще скривился мужичок. – Помирать что ль собрался?

Я схватил взглядом авоську с двумя пустыми бутылками в его руке, включился. Содрал с себя рубашку, скомкал, подложил бородачу под голову, чтобы не билась об асфальт, забрал у мужичка авоську, освободил её от посуды, сообразив, что сгодится она для дела. Подозревал я, что разомкнуть челюсти, разжать его намертво стиснутые зубы будет очень непросто, но не ожидал, что вообще не сумею, как бы ни старался.

– Может, этим попробовать? – спросил присевший рядом на корточки мужичок. И удивил меня, достал вдруг из кармана потрепанного пиджака ложку. Лучшего не придумать было, требовалось лишь быть очень осторожным, не поранить страдальцу лицо. Мужичок активно включился в процесс, нам всё-таки удалось просунуть обмотанный носовым платком черенок ложки между зубами, умудрились втиснуть в образовавшуюся щель авоськину лямку. Я повернул голову страдальца набок, уселся ему на ноги, мужичок придерживал за плечи. Минуты через три он затих, из-под век сползли закатившиеся кверху зрачки, медленно прояснился взгляд. Сумел он вымученно улыбнуться:

– Задал я вам хлопот, вы уж простите меня, пожалуйста.

С нашей помощью тяжело поднялся, перевёл взгляд с меня, полугололого, на лежащую на земле скомканную рубашку с расплывшимся посередине красным пятном. Я только сейчас заметил этот кровавый след. Упав, повредил он, значит, затылок. Хорошо ещё, что сотрясение мозга, похоже, не получил, всё могло и похуже обойтись. Или всё-таки не обошлось ещё, просто клиника сотрясения пока не проявилась?

– Рубашка-то ваша... – виновато пробормотал он. – Вы уж простите меня великодушно... я сейчас это... новую куплю... здесь, помнится, где-то магазин неподалёку...

– Да чего там! – повеселел мужичок, запихивая в авоську бутылки. – Рубашка – это тьфу! Живой, мозги не отшибло, чего ещё человеку нужно? Ты ж напугал меня как! Думал, вообще сканаешь! – Поднял с земли рубашку, встряхнул, вдруг озорно подмигнул: – А чего новую покупать, эта ещё хоть куда сгодится! У меня тут недалеко подружка обитает, я мигом смотаюсь, простирнёт её, отутюжит, куда что денется! А мне бы за труды на скляночку, чтобы нервы после всего утешить, оклематься!

– Вы не суетитесь, – остудил я мужичка, – никуда мотаться вам не потребуется, я здесь рядом живу, никаких проблем. А за помощь спасибо, даже не знаю, как без вас управился бы.

– Ну почему же, – возразил бородач. – Каждый труд должен быть оплачен. Тем паче для утешения его расстроенной нервной системы. – Вытащил тощий бумажник, извлёк оттуда

желтую сторублёвку, протянул мужичку. – Увы, сударь, я сейчас не очень-то кредитоспособен, больше никак не смогу.

Тот восхищённо хекнул, ловко выхватил её, сунул мне рубашку и чуть ли не бегом, забыв ложку, устремился прочь от нас, словно опасался, что бородач передумает. А тот мне:

– Вы действительно здесь живёте? У меня, извините, ум сейчас от всего этого нараскоряку.

– Живу, – успокоил его, – в самом деле нет проблем, не комплексуйте. – Отметил про себя, что, судя по говору и облику, человек он с нехилым интеллектом, но и джинсы его, и блеклая ковбойка сильно изношены, под стать им расхлябанные кроссовки. То ли не придает он тому, как одет, значения, то ли в самом деле «сейчас не очень-то кредитоспособен». А ещё заметил я, что он вдруг как-то странно начал вглядываться в меня, лоб его ещё отчетливей выморщился, будто силился он припомнить что-то. И неожиданно спросил:

– Вас, извините, случайно не Борисом зовут?

– Случайно Борисом, – хмыкнул я, однако не очень-то удивился. При моей профессии само собой разумелось. Столько людей в той или иной мере имели ко мне отношение, этот бородач, скорей всего, кто-то из моих бывших пациентов или их родичей. Слегка царапнуло лишь, что фамильярно назвал меня по имени, не присовокупив отчества. Но волновало меня сейчас другое: не знал я, как теперь повести себя. Уйти, оставив его с разбитой в кровь головой, нельзя. И неизвестно ещё, завершилось ли всё лишь этим повреждением. Вызвать «Скорую» и побыть с ним, пока она увезёт его? Жаль, мобильник с собой не захватил. У него спросить? Но как побыть? Таким, как сейчас, полуголым? Попробовать натянуть на себя эту мятую измаранную рубашку? Дёрнул же меня чёрт в запарке стаскивать её с себя, ничего другого не мог придумать! Лучше бы, – нехорошо подумал, – с мужичка того пиджак стащил, небось замызганней не стал бы... Какая, однако, дребедень в голову лезет... Отвести его к себе домой, обработать рану, а уже потом, в зависимости от..? Вот уж сюрприз будет Томе с утра пораньше...

В считанные мгновенья проскакали в голове все эти одна другую исключавшие мысли, но остановиться на какой-нибудь из них помешал его следующий вопрос:

– А вы меня не помните? Может быть, вот так? – прикрыл ладонью бороду. – Теперь мне показалось, что в самом деле где-то раньше определённо встречал его, но что это меняло? – Я Костя, с Лермонтовской. – Заулыбался. – Сырой. Ну, теперь вспомнили?

Сырой! Теперь, конечно же, вспомнил. Костик Сыромятников с улицы, на которой я жил когда-то, в футбол в одной команде играли. Толковый, симпатичный был пацан, близко мы с ним не дружили, но встречались часто. Если б не эти его усы с бородой, наверняка сразу узнал бы, хоть и столько лет прошло. Кто-то, не помню уже, рассказывал мне, будто бы писателем он заделался. Неужто? Вот разве что постарел он сильно, мы ведь с ним ровесники, а он явно старше выглядит. И что-то не помнилось мне, чтобы страдал он эпилепсией, такое ведь не утаишь, мы бы точно раньше или позже прознали об этом. Повезло или не повезло, зато сомнений никаких больше не осталось, сволочью был бы последней, если бы не привел его сейчас к себе домой, не помог, не приветил.

– Попробуй теперь узнать тебя, Костик! – тоже разулыбался я. – Бородищу вон какую отратил! Надо же, как довелось нам свидеться! А чего мы тут стоим? Пошли, – потянул я его за рукав.

– Куда пошли?

– Ко мне, куда ж ещё, в божеский вид себя приведём.

Он смутился, отнекивался, повторял, что неудобно это, и без того столько хлопот мне доставил, но я и слушать не хотел, упирал на то, что я же врач, не могу оставить его с разбитой головой, к тому же должен ещё понаблюдать за ним, мало ли что. В ущербную рубашку свою я всё-таки облачился, чтобы не совсем уж шокировать своим неприглядным видом повстречавшихся вдруг соседей. Лишь попросил его подождать немного на лестничной площадке, опа-

саясь, что Тома в это раннее утро выйдет в не предназначенном для посторонних взглядов виде. Так оно и случилось, я в двух словах ввёл ее в курс событий, она, изумлённо похлопав ресницами и не преминув бросить мне на прощанье «вечно ты!», поспешила в спальню, а я провёл Костю на кухню, осмотрел ранку в его поредевших пегих волосах. К счастью, оказалась она небольшой, даже странно, что так много крови вытекло. И ехать в травмпункт зашивать её не пришлось, вполне можно было обойтись простейшей обработкой и бактерицидным пластырем, чем я и занялся.

Вошла к нам Тома, уже причёсанная и в халате, участливо повздыхала, поохала, сказала, что сама ходит за хлебом и чтобы я куда-то гостя не отпускал, вернётся она – будем завтракать. Мы, дожидаясь её, поговорили. Костя, оказалось, жил в посёлке в ста с небольшим километрах от города, в самом деле занимался писательством, издал семь прозаических книг. Я незаметно наблюдал за ним, порадовался, что симптомы сотрясения не проявляются. Посудачили, конечно, и о его хвори. Удивил он меня тем, что приступы эти начались у него всего три года назад, каких-либо провоцирующих заболеваний головного мозга или травм перед тем не было. И в роду его, насколько он знает, никто эпилепсией не страдал. По совету знакомого врача сделал он МРТ – исследование мозга, чтобы исключить опухоль, – тоже не подтвердилось. Я терапевт, плохо разбираюсь в тонкостях неврологии, но всегда полагал, что такие припадки вряд ли могут начаться в зрелом возрасте и ни с того ни с сего.

Вернулась Тома, сели мы завтракать. Костя томился, старался пореже встречаться с Томой взглядом, снова и снова пространно благодарил меня, извинялся за причинённые нам хлопоты. Я видел, что не терпится ему уйти, к тому же сказал он, что может не застать нужного ему человека, к которому приехал. Не стал я его задерживать, обменялись мы телефонами, пообещали обязательно повидаться, не терять друг друга из виду.

Я вышел его проводить, он звал меня приехать погостить к нему, прельщал своими книжками, которые мне подарит, и умудрившимся сохранить в наши дни чуть ли не первозданную чистоту озером, классной рыбалкой, тишиной и покоем. Я тоже благодарил его, посетовал, что вообще забыл уже, когда в последний раз на берегу с удочкой посиживал, рада бы, как говорится, душа в рай, да грехи, то бишь заботы не пускают. Мечтательно вздыхал, говорил, что обязательно как-нибудь выберусь к нему, хоть и сомневался в глубине души, что этой радужной перспективе в обозримое время суждено сбыться, как бы ни хотелось мне. Тем более поехать к нему одному, без Тома, не с ней же там рыбачить.

– Так я жду, звони! – Костя пожал мне на прощанье руку и неожиданно спросил: – Ты собак не боишься?

– Нисколько, – пожал я плечами, – а при чем тут они?

– Ну, собаки у меня, – пояснил он, – некоторые, знаешь, не любят или боятся, хотел на всякий случай предупредить.

Я снова заверил его, что собак не боюсь, на том и расстались.

Человек, известно, предполагает, а Господь располагает. Вот не верил я, что вырвусь из города в Костин озёрный заповедник, однако и месяца не прошло, как это свершилось, звёзды так удачно совпали. Тома с дочкой улетели на выходные дни в Москву на свадьбу племянника, остался я в негданном одиночестве, сменился в пятницу с ночного дежурства, до понедельника вольным соколом. Позвонил Косте, выяснилось, что есть электричка, приходящая к нему вечером. Всё удачно складывалось: вечером посидим с ним, повспоминаем, потреплемся – тогда ведь и поговорить-то толком не удалось, – а утречком уже и разохочусь я вволюшку. У меня и удочки, и все нужные причиндалы уже столько лет в чулане пылятся, думал я, там и пропадать им, пока вообще у Тома до них руки не дойдут.

Но не понадобились они мне, Костя обрадовался моему звонку, сказал, чтобы я ничего с собой не брал, не загружал себя, он обо всём позаботится, и в половине седьмого, точно по

расписанию, встречал он меня на своем полустанке. А ещё через полчаса добрались мы до его жилья.

И только тут понял, почему он спрашивал меня, боюсь ли я собак. Зрелище, надо сказать, было впечатляющим. В большущем дворе разноголосым лаем приветствовала нас целая собачья свора. Я их не пересчитывал, навскидку не меньше полутора десятков. Первой мыслью моей было, что Костя, скорей всего, имеет какое-то отношение к собаководству, о чём свидетельствовали низкие, длинные, с отсеками пристройки вдоль забора. Я такие видел в документальных фильмах о собачьих питомниках или приютах для бездомных животных. Что разводит он их с коммерческими целями, сразу отметалось, потому что ни одной достойной, породистой среди них я не высмотрел. Обычные дворняги всех мастей, величин и форм, от совсем маленьких и несурзных до огромных мосластых псов. Я всегда, кстати сказать, поражался, насколько разнятся между собой собаки, порой трудно поверить, что вообще принадлежат они к одному роду-племени, нет больше ни одного представителя фауны с такими крайностями.

И уж совсем смехотворно было бы предполагать, что держит он их в таком количестве для охраны дома. Невозможно было поверить, что стоит того эта неказистая изба, сработанная из потемневших, траченых временем брёвен. В чём и удостоверился, когда вошли мы внутрь. Аскетичная обстановка, непритязательная мебель, в большинстве своём представленная топорно сработанными книжными полками до самого потолка. Вариант, что кто-то позарится на эти книжные залежи был не менее фантастичен, чем предположение, что кто-то захочет купить какого-нибудь из заплонивших двор пустобрехов.

– Зачем тебе эта собачья ферма? – искренне удивился я.

– Нужна, – коротко ответил Костя. И чуть помедлив, добавил: – Потом, может быть, расскажу.

Заинтриговал меня. Но я не стал приставать к нему с расспросами. Решил подождать, пока выполнит он, если захочет, своё обещание. Знал я, что писатели, вообще творческие люди, нередко бывают не от мира сего, чудачат. Всякого начитался, наслышался. Некоторые-де считают обязательным и внешним видом своим, и повадками отличаться от простых смертных. По высшему разряду ценится отрешение от прогнившей цивилизации – сменить загаженные городские кварталы на сермяжные непорочные веси, особо почиталось это у истых страдальцев за обездоленный народ, озабоченных «почвенников». Дабы творить там могли беспримесно и самозабвенно, на городскую скверну не отвлекаясь. Если не перевелись ещё таковые и вообще не легенды это ими же сочиняемые. Вот и Костя Сырой – может, и псевдоним себе такой взял? – бороду отрастил, одевается скудно, хоть и в чужеземных вытертых джинсах. Но более склонялся я к тому, что он, судя по всему, просто живёт бедновато, а не выпендривается. Что, вообще-то, логично, если учесть, сколько надо тратить чтобы прокормить эту прожорливую собачью братию. А что живут они не впроголодь, я успел заметить – изможденными они у него уж никак не выглядели. И зачуханными тоже.

Но больше всего моё любопытство подогревало другое: кто та сподвижница, святая или, наоборот, в пару ему свихнутая, согласившаяся делить с ним такую замысловатую жизнь. Или нет её? Последняя версия казалась мне предпочтительней, всё-таки чувствовалось, что женская рука давненько ничего здесь не касалась, хоть и прибрано было, пол вымытый.

Я похвалил себя, что сообразил приехать сюда не с пустыми руками, пусть и не принято заявляться в гости со своим угощением, не складчина же. Удочки я по его совету не взял, но запасся бутылкой хорошего сухого вина, салями прикупил. Кто ж его знает, как сейчас живут все эти небольшие российские селенья, я в них уже целую вечность не бывал. Только что из разговорочного утюга не вещают, как всё там нищает и разваливается.

А Костя успел подготовиться к моему приезду, стол был заранее накрыт, выставлен неприхотливый холостяцкий набор – сыр с колбасой и огурцы с помидорами вокруг бутылки водки. И всего два стакана, что подтвердило моё предположение об отсутствии в доме хозяйки.

Выговаривать мне за самодеятельность Костя не стал, буркнул лишь, что ни к чему это было. А я втайне порадовался своей предусмотрительности ещё и потому, что водку не люблю, от одного запаха её меня воротит. Не сомневался ведь, собираясь к нему, что без возлияний наша встреча не обойдётся, не тот случай.

– Совсем водку не принимаешь? – поинтересовался Костя, когда уселись мы за стол.

Я признался, что почти трезвенник, могу разве что в хорошей компании выпить несколько рюмок вина.

– Вольному воля, – не стал, чего я опасался, прессовать меня Костя, наполняя до половины водкой свой стакан, – пей свой сухарь. Я, вообще-то, раньше тоже не увлекался, это сейчас не обхожусь, заснуть без неё не могу, вроде лекарства.

– И давно? – осторожно полюбопытствовал я.

– Как беда в дом пришла, – не сразу ответил Костя. – Ну, а потом... – не договорил, лишь рукой махнул.

Мы долго сидели в тот вечер. Костя, прикончив первую водочную бутылку, открыл вторую, которую я опустошил вместе с ним. И не пьянел я, во всяком случае, не было у меня ощущения, что перебрал. И вообще не очень прислушивался к своим ощущениям. С той самой минуты, как он, слегка захмелев, начал рассказывать о сыне, жене, о собаках. Тогда и попросил я его налить и мне водки...

Беда. Беда... Короткое страшное слово. Мы выбираем судьбу, она ли нас выбирает...

\* \* \*

Когда-то грех ему было пенять на судьбу. Все путём шло, без обломов. Ещё не закончив университет, увидел свой рассказ опубликованным в толстом журнале. Вскоре первая книжка вышла, затем в Москве издали – это вообще Эверест для провинциального нераскрученного автора, редкостная удача. И женился удачно – Света умница была и красавица. И друзьями Господь не обидел, особенно Гариком – с ним они с первого же курса так сдружились, как не с каждым братом сблизиться. Костя после диплома в аспирантуру подался, а Гарика сразу на радио взяли, тоже не каждый похвастать может. В одном лишь везения не было: не получалось у Светы сохранить до положенного срока беременность, почти десять лет прожили бездетными, прошли все мыслимые и немыслимые круги от знаменитых профессоров до сомнительных знахарей, знакомые собратьям по несчастью, не помогало. Печалился Костя, а Света просто заиклилась на этом, белый свет не мил. Когда Вовка родился, счастливей их никого на свете не было. И словно воздалось им за все былые мучения, мальчик получился замечательный. Хватило бы уже одного того, что по большому счету не захворал ни разу, здоровенький рос и разумный, никогда горя с ним не знали. Плаваньем занимался, за городскую сборную выступал, по-английски шпарил как по-русски, учился отлично. Утеха родительская. Ко всему ещё – откуда что взялось, сам Костя похвастать этим не мог – рукастый был, с техникой в ладу.

И снова жить бы да радоваться, если бы Гарик не учудил. Женился он на девчонке тоже с их филологического факультета, пристроились оба неплохо, она на кафедре, обосновались прочно, тоже сынишку родили. Хиловатого, правда, ребёнка, с лёгкими у него большие проблемы были. И вдруг похерили они всё, уехали в деревню, откуда жена его родом, осели там, оба в школе преподавали, Гарик ещё клубом заведовал. Костя так и не понял до конца: то ли из-за слабого здоровьем сынишки, то ли внезапное помешательство на них нашло, в народничество ударились, то ли Гарикова тёща тут какую-то роль сыграла. Гарик отшучивался, именовал Костю урбанистическим лишенцем, говорил, что это не его, а Костино семейство пожалеть надо. Уехал Гарик – и сразу жизнь без него потускнела, продырявилась. Виделись, конечно, время от времени, Гарик в город по каким-нибудь надобностям приезжал, Костя изредка к нему наведывался, но всё не то было. Никак не мог Костя привыкнуть, приспособиться к его

отсутствию, к невозможности в любой нужный момент повидаться с ним, пообщаться. Не то чтобы на Гарике у него свет клином сошёлся, приятелей хватало, но разве с Гариком сравнить?

Каждый приезд к Гарикю был маленьким праздником. Порой Костя ему в самом деле завидовал. Его просторному дому с садиком на тихой околице, подступавшему близко лесочку. И сынишка его здесь поздоровел, впервые румянец на щеках проступил, тут Гарик точно не прогадал. Одно лишь там немного напрягало Костю. Бегал по двору пёс, громадный, черный, кудлатый, по кличке Пахан – это Гарик так позабавился. Костю Пахан сразу же невзлюбил, заходился свирепым лаем и рвался с цепи, когда тот заходил во двор. Гарикю приходилось загонять его в будку, чтобы Костя мог войти в дом. И выйти из дома без Гарика тоже было не просто. Костя отвечал псу взаимностью. Он вообще с детства не любил и откровенно побаивался собак. Пахан, наверное, как-то чуял это, становился агрессивным. Собаки, говорят, нападают в основном на тех, кто их боится, будто бы раздражает их запах испугавшегося человека. Гарик, впрочем, выдвигал другую теорию – у Кости жил кот, с рук не слезал, именно этот запах улавливал ненавидящий кошачье племя Пахан. Трудно сказать, верна ли была Гарикова версия, но что Костю, завязатого кошатника, – сколько помнил себя, в доме у него жили кошки – всегда не жаловали собаки, факт неоспоримый. Да он и сам к ним старался не приближаться, обходил стороной.

Было, правда, одно исключение. В том же Гариковом дворе. Однажды, приехав к нему, Костя увидел там маленькую рыжую собачонку. Узрев Костю, она подбежала, приветливо помахивая хвостом, лапаясь к нему. Известно, что ни одно, исключая человека, животное не способно улыбаться. Эта захудалая собачонка была, значит, исключением. Одарив застывшего Костю лучезарным взглядом – коктейль из умиления, счастья и обещания любить вечно, – упала на спину, задрала вверх лапки, надеясь, судя по всему, что гость разделит с ней блаженство встречи, почесет ей животик. Или, тоже вариант, демонстрировала таким образом, что полностью отдает себя в его руки.

Чесать ей живот Костя не стал, но тронут был таким неожиданным дружелюбием. Поинтересовался, откуда взялась тут эта шавка, Гарик рассказал ему, что откуда взялась – неизвестно, но сюда она стала наведываться частенько и сдружились они с Паханом так, что водой не разольешь. Пахан, когда она появляется, просто балдеет от радости, ждёт её не дождётся, даже к миске своей подпускает. А ещё Гарик подивился тому, как Костя вдруг догадался – они тоже решили её Шавкой назвать, уж больно она неприглядная. А псинка эта, что не менее удивительно, на это имя откликается. Но пусть он, Костя, не тешит себя мыслью, что Шавка с первого взгляда его полюбила, она так относится и к хозяевам, и ко всем, кто появляется во дворе, прямо неиссякаемый источник обожания какой-то. Косте трудно было вообразить, какие могут быть дела у громадного пса и такой маленькой собачонки, но их проблемы его мало волновали, хватало своих.

А жизнь продолжалась, хорошая жизнь, Вовка закончил школу, был у него выпускной бал, Костя со Светой прослезилась, когда их Вовке, единственному в классе, вручали золотую медаль, тихо любовались, какой высокий, красивый, удачный вырос у них сын. Уже под утро, когда после ритуального ночного гулянья Вовка провожал домой свою школьную подружку, сбил их пьяный водитель грузовика. Вовка погиб сразу. Одно утешение, если можно назвать это утешением, что не мучился. И всё.

Вот она, беда. Страшней, непоправимей не бывает. И ведь не зря считается, что приходит она не одна. Косте самому жить расхотелось, хоть в петлю лезь, но что творилось со Светой – словами не передать. Костя не без оснований опасался, что она действительно наложит на себя руки, старался даже по возможности не оставлять её одну.

Нет, в петлю она не полезла, но беда с нею стряслась не многим меньшая. Света начала пить. Сначала тайно, чтобы Костя не видел, потом уже открыто, не считая нужным прятаться. Все Костины попытки вразумить её ни к чему не приводили, разговаривать с нею стало невоз-

можно. Потом стала пропадать из дому, не приходила ночевать. Иногда по нескольку дней. Где была, что делала – выяснить не удавалось. Костя разыскивал её, обзванивал, стыдился, знакомых, обходил окрестные пивные. Однажды случайно встретил её в компании двух таких же нетрезвых, сомнительного вида мужиков, чуть ли не бомжей, еле удалось затащить её, плохо соображавшую, домой.

Вечером того дня и случился с ним первый припадок. Он плохо помнил, как всё началось. Качнулся вдруг под ногами пол, обрушилась на него чернота – и очень удивился, обнаружив и себя лежащим на диване, и сидящему возле него соседу из квартиры напротив. Света потом рассказала ему, как рухнул он на пол – хорошо, палас немного смягчил удар, – бился в судорогах, закатились глаза и пена на губах выступила; испугалась она, думала, умирает он, побежала звать на помощь. Сосед помог ей перенести его на диван, обошлось.

Когда, через неделю, припадок повторился, Костя и сам испугался, обратился к врачу, благо был у него знакомый невропатолог, бывший одноклассник. Тот отнёсся участливо, дал необходимые рекомендации и выписал лекарства. Довольно долго эти приступы не прихватывали его, затем случился очередной, уже на улице, среди дня. Пришёл в себя в окружении зевак, торчал во рту какой-то мешавший дышать кляп, оказавшийся козырьком чьей-то кепки. Снова пошел к тому однокласснику, снова советы, снова лекарства, но твёрдо знал уже, что избавиться от этой напасти не удастся. И не ошибался – приступы эти повторялись, причём невозможно было понять, чем они вызываются и когда в очередной раз накроет. То трясли чуть ли не каждую неделю, то месяцами не тревожили. Света, конечно же, всё понимала, на какое-то время утихомирилась, но всё-таки опять сорвалась, покатила по той же наклонной, сначала пряталась, врала Косте, истерики закатывала, потом вообще перестала с ним считаться, опустила донельзя. Тот же врач-одноклассник сказал ему, что женский алкоголизм не лечится.

Длился этот кошмар больше года. И однажды Костя, вернувшись домой, увидел на столе записку. Света сообщала ему, что покидает город, сюда больше не вернётся, просила как можно быстрее разменять их двухкомнатную квартиру, деньги же за одну комнату отдать человеку, которого она к нему пришлёт.

К счастью, был на свете Гарик. Костя, отдышавшись, поехал к нему, единственному человеку, во всех подробностях знавшему о всех его бедах. К единственному, с кем можно было и с кем сейчас в состоянии он был общаться, не тащить этот непосильный груз в одиночку. Не позвонил ему, не предупредил, поспешил на автовокзал. Добрался уже ближе к вечеру, поджидал его ещё один сюрприз: дома никого не оказалось. Лишь Пахан, учуяв его, захлёбывался лаем и гремел цепью. Кто-то ткнулся сзади в его ногу, Костя обернулся, увидел Шавку. Радостно повизгивая и восхищенно жмурясь, привычно упала на спину, замлела. Ждать под забором, только Пахана злить, Костя не хотел, зашагал к лесочку, побрёл наугад, вороша ногами пожухшие листья. Осень как-то незаметно подкралась, ощутимо похолодало, он пожалел, что не сообразил надеть хотя бы плащ, выбрался из дому в легкой ветровке. Не сразу обратил внимание, что Шавка увязалась за ним, не до того было. А она и не претендовала на это, ей, похоже, хватало одного наслаждения трусить рядом с ним. Панически вскрикнула над головой какая-то птица, он поднял голову – и хлестанула вдруг по глазам черная молния...

Потом ощутил что-то горячее и влажное на своем лице, промелькнула даже бредовая мысль, что кто-то целует его. Прояснившимся сознанием и зрением выявил, что это лижет его Шавка. В следующую секунду осознал, что оказался в большой, глубокой яме. Рассуждать уже мог вполне отчетливо, догадался, как в неё угодил. Вряд ли была она перед ним, когда сразил его припадок – такую заметил бы. По прошлому своему печальному опыту знал, что может он, уже в бессознательном состоянии, сделать ещё несколько шагов, как курица без головы. А упал почему-то спиной вперёд: полулежал согнувшись, с задранными выше головы, упиравшимися в край ямы ногами. Шавка, значит, или провалилась вместе с ним, или самоотверженно вслед

за ним прыгнула. Он оценил её альтруистический порыв, если верна была вторая версия, но не настолько, чтобы позволять ей лизать своё лицо.

Убрал её с груди, огляделся. Совершенно дурацкая история. Сначала он возмутился, что в этом лесочке, недалеко от человеческого жилья – наверняка тут люди ходят, дети, сам однажды с Гариком прогуливался – есть такая опасная ловушка, никого это не заботило. И вообще непонятно, как здесь могла образоваться такая ямища. Не стал же кто-то специально рыть её здесь – для чего? Старая воронка от жажнувшей когда-то сюда бомбы? Оставалось только порадоваться, что так ещё удачно он упал, вполне мог не только ногу сломать, но и шею себе свернуть.

Попробовал привстать – и не смог, ноги не повиновались. Решил, что затекли они, наверное, от неудобной позы, усердно потёр одну – и не на шутку встревожился. Отказываясь поверить в самое худшее, изо всех сил ущипнул её, затем другую. Обречённо закрыл глаза, погодил так недолго, не давая себе запаниковать, потом яростно заколотил по ним обоими кулаками, до последнего не желая верить своей страшной догадке. Но в глубине души не сомневался уже, что случилось с ним то, хуже чего с человеком редко бывает. Потому ещё, что знал об этом побольше кого-либо не имевшего отношения к медицине. По странному, мистическому совпадению писал он недавно о человеке, сломавшем в дорожной аварии позвоночник, навсегда обездвиженном. И чтобы получилось у него достоверно, сходил в библиотеку, почитал нужную литературу.

Оставалось лишь уповать, что это всё-таки не повреждение спинного мозга, только сильный ушиб, сотрясение, всё ещё может наладиться. Снова накрепко сомкнул веки, заставил себя не поддаваться разрастающемуся ужасу. И почти удалось это, суметь бы ещё хоть чуть отодвинуть спину от пронизывавшей могильным холодом стенки...

Заворочалась, заскулила рядом Шавка. Он погладил её, с нарочитой бодростью, скорей себе, чем ей, сказал:

– Не бойсь, обойдётся, не в тайге же заплутали, не пропадём.

И как-то вроде бы полегчало от звуков собственного голоса. Действительно, ведь не чёрт те где соскользнул он в эту проклятую яму, посёлок совсем рядом, люди. Долго ли шёл он сюда, максимум минут пятнадцать-двадцать, докричаться наверняка удастся, или кто-нибудь поблизости окажется. Но если... Эту мысль сразу же погнал от себя – тоже врач выискался, диагнозы ставит! У страха, известно, глаза велики. Уже потому ничего такого не должно было с ним случиться, что не мог он настолько провиниться перед судьбой, чтобы так жестоко она его карала, неужели не натешилась ещё, не наизгалялась над ним...

Шавка перебралась к нему на колени, но лучше бы не делала этого, не обескураживала его: не почувствовал он ни тяжести ее тела, ни тепла. Но всё равно и в этом немного повезло, какое-то живое существо рядом, пусть и бессловесное.

Чтобы чем-то хоть ненадолго отвлечь себя, начал смотреть на часы, на мерно дёргавшуюся секундную стрелку, суеверно зарёкся девять – именно девять, его, скорпиона по гороскопу, число – минут выждать, потом проверить, не появилась ли в ногах чувствительность. И старался не думать о том, что быстро темнеет, циферблат уже плохо различим, – с приближавшейся ночью все его проблемы неизмеримо возростали...

Через десять минут он стал звать на помощь. Кричать громко, истошно. Сразу же выяснилось, что его голосовые связки плохо для этого приспособлены – вскоре сорвал голос, натужные вопли превратились в жалкое, едва слышное хрипение...

И снова, снова находила себе подтверждение вековая истина о не приходящей одной беде – взялся накрапывать дождик. Слабыми ещё, реденькими каплями. Но грозившими, судя по набухавшим чернотой тучам, вскоре превратиться в проливной дождь. Гибельное приложение ко всё более немилосердно изводящему его холоду. И чётко осознал, что никто ему на помощь не придёт, эту студёную ночь под дождём ему не вынести, не пережить.

Завыла Шавка. От этого жуткого воя сделалось ему совсем невольно, такая смертная тоска придавила – разве что с Вовкиным уходом сравнимая.

– Замолчи, дрянь! – ткнул её в бок кулаком.

Но она завыла того громче. Словно вымещая на ней всю досаду, всё свое отчаяние, прибавил ещё несколько тумаков. Она, наверное, могла бы попытаться выбраться из ямы, вдруг удастся, но почему-то не делала этого и выть не переставала. Выла, выла, выла, словно хоронила его... И вдруг совсем уже накрыло его, припадку сродни, схватил он её за горло. А она, чему потом уже, вспоминая, изумился он, не сопротивлялась, не дёргалась, не извивалась, не отбивалась лапами, только смотрела на него...

\* \* \*

– Ты понимаешь это? – с маху стукнул себя по колену Костя. – Только смотрела! Мне этот её взгляд в страшных снах снится! Что угодно отдал бы, лишь бы забыть его!

– И что потом? – тихо спросил я.

– А что потом было, мне Гарик поведал. Вернулись они домой, а Пахан, всегда этому бурно радовавшийся, даже внимания на них не обратил, жалобно скулил, рвался с цепи. Никогда раньше с ним такого не бывало, Гарик обеспокоился, заговорил с ним, снял с цепи, хотел приласкать, но тот вырвался, проскочил в незапертую калитку, умчался. Гарик побежал за ним, звал, но Пахан даже не оглянулся.

Костя с огорчением посмотрел на опустевшие бутылки, досадливо поморщился и продолжил:

– А я, когда Шавка уже не дышала, услышал вдруг над собой чьё-то шумное частое дыхание. Поглядел вверх – и увидел чёрную голову Пахана. Обрадовался ему так, что слёзы брызнули. Был один шанс из тысячи, из миллиона, и он мне выпал. Если здесь Пахан – значит, и Гарик где-то поблизости. Или сын его, к примеру, значения не имело. Пахан устоял на всё ещё лежавшую у меня на коленях Шавку, затем голова его исчезла. И я, уверовавший было в чудо, понял, что он уже не вернётся, снова взялся, как способен был, кричать, звать. Но никто не откликнулся. Шанс оказался не моим. Может, жутко подумалось, вовсе не Пахан это был? Померещилось мне в жутком отчаянии, что это черная смерть за мной приходила, или гонца своего присылала. А Гарик потом рассказывал, что так же неожиданно, как убежал, вскорости Пахан объявился, принялся умоляюще лаять, скрестись в дверь. Когда Гарик открыл, Пахан схватил его за штанину, потянул. Гарик догадался, что явно тот куда-то зовёт его, решил на всякий случай проверить...

– И что потом? – повторил я.

– Известно что, – невесело усмехнулся Костя. – Иначе не сидел бы сейчас перед тобой. Три недели в больнице отлежал, самого непоправимого не произошло, живу, как видишь, хожу нормально. Квартиру свою продал, купил две однокомнатные. Одну из них тоже продал, деньги Светке отдал. В свою пустил квартирантов, на эти деньги здесь и живу, собак держу. Я, к слову, в то утро, когда с тобой так не по-хорошему встретился, и приезжал, чтобы заплатили они мне. А дом этот заваливающий чуть ли не даром приобрёл, зато двор большой, для меня это важнее...

Всё остальное не трудно мне было додумать. Пахан даже на таком расстоянии однако же услышал голос попавшей в беду подружки, бросился спасать её. Непонятно мне лишь было, где Костя таких никчемных дворняг берёт, неужели где-то покупает?

– А собаки как же? – полюбопытствовал я.

– Собаки почти все приبلудные, – понял он мой вопрос. – Тут меня все знают, приводят мне бродячих, бездомных. Ребятня, конечно, в основном, они пожалостливей. Кропаю здесь помаленьку.

Я помолчал, подавленный всем услышанным, и всё же зачем-то спросил:

– В прощение веришь?

Костя тоже ответил не сразу:

– Ничто, Борька, в этой жизни не прощается. И не забывается. Не верь тому, что время будто бы лечит. Ничего оно не лечит. – И по слогам добавил: – Ни-че-го. – Подозрительно хлюпнул носом. – Ты понимаешь, она меня спасала, а я её душил, а она на меня смотрела. Только смотрела, ничего больше. – И теперь уже заплакал, обильными пьяными слезами...

## Суд идет

С того дня, когда достал Танеев из своего почтового ящика это извещение, он дважды принимал участие в судебных процессах. Первый раз – почти сорок лет тому назад, в бытность молодым врачом в далёком сибирском городишке, куда распределился после окончания института. Участвовал в качестве обвиняемого. История та была ужасная, хоть и начиналась обыденно, даже как-то нелепо.

В хирургическом отделении небольшой ведомственной больницы, где начинал он постигать премудрости врачевания, работало, с ним считая, четыре доктора. И на стационар, и на поликлинику, сменяя друг друга. Когда Танеев немного поднаторел, пустили его в одиночное плавание – самостоятельно вести приём в поликлинике. Что поначалу сильно его напрягало. Не только потому, что пришлось теперь самому ставить диагнозы и назначать лечение, выписывать больничные листы, проводить какие-никакие оперативные вмешательства, всё на свой страх и риск, и некому подсказать, поправить. А ещё это неизбежное опасение, что, выписывая рецепт, ошибётся в названии или в лекарственной дозе. Предпринимал, конечно, спасительные меры, держал в чуть выдвинутом ящике письменного стола рецептурный справочник незабвенного Мошковского и, для ближнего боя, выписанные на отдельном листочке самые ходовые прописи.

Первый же свой поликлинический день запомнит он на всю оставшуюся жизнь. Утром нянечка из родильного отделения принесла спелёнатого младенца, попросила подрезать ему язычок. В детстве Танеев довольно сильно заикался, с годами этот дефект сделался почти незаметным, лишь изредка напоминал о себе в минуты сильного волнения. Еле сумел произнести:

– К-как это – п-подрезать?

– Обыкновенно, – пожала плечами нянечка, – чтобы мог он мамочке грудь сосать нормально.

– Я-язычок? – совсем уже плохо соображал, уставясь на крошечный слюнявый ротик человечка, безмятежно спавшего, не подозревавшего, какие тёмные тучи сгущаются над его красноватым сморщенным личиком.

– Ну да, язычок, – хмыкнула нянечка, – Зачем бы тогда пришла?

Будь это в иное время и в ином месте, впору было подумать, что кто-то вздумал настолько зло подшутить над ним. Заполосно оглянулся на свою медсестру, та, конечно же, всё прекрасно поняла, ободряюще улыбнулась, протянула ему ножницы:

– Там под язычком такая уздечка есть, увидите, она, случается, прирастает, мешает нормально сосать. Чикнуть по ней – и все дела. Это совсем просто, Владимир Евгеньевич, и вовсе не больно, он даже ничего не почувствует.

Танеев со страхом поглядел на холодно поблескивавшие стальные бранши, гигантские в сравнении с тонюсенькими младенческими губками, обречённо спросил, нет ли ножниц поменьше. Ответила, что и такие сгодятся, ещё разок глянула на него, ничего больше не сказала, попросила нянечку зажать ребенку носик, и когда тот обиженно закричал, ухватилась за его розовый язычок, приподняла, ловко сунула кончики ножниц в образовавшийся просвет и чикнула.

– И все дела, Владимир Евгеньевич, – подмигнула обескураженному Танееву, начавшему уже привыкать, что обращаются к нему с добавлением отчества.

За нянечкой закрылась дверь, Танеев разжал в карманах халата вспотевшие ладони, справился с дыханием, опасно спросил:

– А если з-закровит?

И покорно снёс вторую чувствительную оплеуху, услышав в ответ:

– Так там же сосудов нет, кровить неоткуда, неужто не знаете?..

Запомнить-то, может, и запомнит, до конца жизни или не до конца, но разве сравнима та незатейливая историйка с поджидавшей его вскоре бедою, хуже которой не бывает? Так, разминочка, не более чем первый звоночек в начале лежащей перед ним дальней дороги. Штопанная фраза о времени, которое лучший лекарь, в равной мере применима и к лекарям. Танеев постепенно втягивался в затейливую хирургическую работу, день ото дня чему-то учась, что-то вспоминая, запоминая, обжигаясь и дуя на воду, досадуя на себя и радуясь, обычное дело. И не только для медиков. Вот разве что ошибки, на которых те учатся, кому-то дорого обходятся. Ко второму году своей врачебной жизни уже более или менее освоился, обретал необходимую в общении с больными уверенность или, что в медицине плохо различимо, умению скрывать свою неуверенность. Больше того, даже предпочитал иногда часы работы в поликлинике стационарным – не очень-то складывались у него отношения с заведующим отделением. Осмелел до того, что позволял уже себе на приёме пошучивать, поругивать, поучивать.

И не стал скрывать возмущения, когда вдруг не открылась, а разлетелась, ногой, что ли, распахнутая дверь, вслед за тем ворвалась в кабинет распаренная грузная женщина, волоча за руку мальчика лет десяти-одиннадцати. Но и слова произнести не успел. Верней сказать, не дали ему. В маленьком городишке, известно, «все друг друга знают», опознал он и эту даму, заведовавшую столовой, тем более что кормился там. Сразу обрушилась на него лавина злых, яростных слов, угроз и проклятий, обещаний поквитаться с этими сволочами так, что надолго запомнят.

Немалых трудов ему стоило чуть уgomонить её, усадить, заставить более или менее внятно рассказать что приключилось. Думал, нечто несусветное, способное довести её до такого каления, но причина оказалась пустяковой, несоизмеримой с такими бурными эмоциями. Сына её, рыхловатого белобрысого, всё это время стоявшего с ничего не выражавшим постным лицом – привык, видать, к материнским воплям, – в школе побили. И она это так не оставит, всех этих мразей пересажает, плохо знают они с кем связались, они ещё у неё все попляшут. Наконец-то Танееву удалось выяснить, что ей от него нужно. В такой больнице, естественно, не было судмедэксперта, заключения о тяжести повреждений давали хирурги. Что и надлежало сейчас Танееву сделать, после чего она, как грозились, отправится в прокуратуру и «найдёт управу».

Вообще-то, описывать Танееву было почти нечего. Под левым глазом у мальчишки виднелась едва наметившаяся гематома, на скуле царапина около двух сантиметров длиной, ничего более существенного не обнаружил.

– Вы ещё ногу посмотрите, у него лодыжка болит, – велела женщина.

Посмотрел Танеев и лодыжку, немного отечную, – кто-то изрядно пнул. После чего сказал женщине, что он, конечно, может всё это документально зафиксировать, но овчинка явно не стоит выделки, не тянет это на достойное внимания прокурора расстройство здоровья, пустяки. После чего вся эта сомнительная история приобрела вовсе уже мутный оборот: просила его написать «так, как надо», намекала, что в долгу не останется, он лишь досадливо морщился и со значением поглядывал на часы, давая понять, что время дорого.

– Так вы, – снова завелась, – и лечить эти ваши пустяки не собираетесь, врачебную помощь ребёнку не окажете? – мстительно сузила глаза. – Ему же чуть глаз не выбили!

Он, дивясь своему спокойствию, ответил, что лечить тут нечего, ну разве что не повредит первые сутки холод класть на ушибленные места, чтобы отёк спал. И облегчённо выдохнул, когда, одарив его на прощанье презрительным взглядом и бросив, что и без него уж как-нибудь обойдётся, покинула она кабинет.

Утром следующего дня она с сыном опять пришла, заявила, что нога мальчика всё равно беспокоит, ночью просыпался. Выяснив, клала ли она вчера холод, посоветовал теперь греть, даже на всякий случай выписал направление в физиотерапевтический кабинет. Она сказала, что надо сделать рентген, там, может, трещина или даже перелом. Он ответил, что нет такой

надобности, там самый обыкновенный ушиб, видит же она, что сын нормально ходит, ничто ему не мешает.

Через день вновь пришла, сказала, что парафин делает, а нога всё равно у сына ноет и дёргает, надо обязательно сделать рентген. Возмушалась: да что это за отношение такое? Она вот сейчас к главному врачу пойдёт, кое-кому тогда не поздоровится.

Он бы направил сына этой фурии на рентгенографию, хоть и не сомневался, что нужды такой действительно нет. Уже потому лишь, дабы поскорей отделаться от неё, – не очень-то испугался её угроз. Но проблема в том, что рентгеновские плёнки были в жесточайшем дефиците, на самые крайние случаи, об этом даже думать не приходилось. Как сумел убедительно объяснял ей это, но нисколько не преуспел, она предупредила, что после визита к главному врачу сразу же отправится в райком партии, сразу плёнка найдётся.

Беззвучно произнеся несколько нехороших слов, пошёл в рентгеновский кабинет, взялся упрашивать Ивана Николаевича, ворчливого старика, с которым однако приятельствовал – сошлись на любви к шахматам, – сделать мальчишке снимок, рассказал тому об этой глупейшей истории. Но Иван Николаевич даже дослушивать не стал. Да, знает он эту Остапенко, баба та ещё и муж её в милиции старшиной, да, сочувствует он и рад бы помочь, но плёнок у него почти не осталось. Сейчас, упаси господь, привезут кого-нибудь с черепной травмой, нечем будет работать, а когда новая партия поступит, и самому господу неведомо.

Но удалось Танееву уломать старика. И скорей всего, как подозревал он, решающую роль тут всё-таки сыграли не танеевские просьбы, а тоже нежелание Ивана Николаевича связываться с этой Остапенко. Мальчик был доставлен в рентгеновский кабинет, через двадцать минут туда позвали Танеева.

– Посмотри, – ткнул Иван Николаевич карандашом в изображение на мокрой ещё плёнке. – Видишь, как надкостница отслоилась, козырёк как чётко выражен?

– Так это же... – промямлил Танеев.

– Да, Володенька, да, это острый остеомиелит, во всей своей красе, прими мои соболезнования...

Можно было бы, конечно, описать, как объяснялся потом Владимир Евгеньевич с мамой Остапенко, какими словами обвиняла она его в невежестве и безделье, прежде всего в том, что, если бы послушал он её, сделал сразу рентген, не запустилась бы так болезнь. Но что это изменило бы или поправило?

– Холод кладите, грейте, парафиньте! – зло передразнивала Остапенко. – Где вы только берётесь такие, перекаати-поле, на нашу голову!

На подмогу Танееву, вызванный сообразительным Иваном Николаевичем, прибыл зав отделением Рудаков. Ему как-то удалось немного остудить разбушевавшуюся женщину, пообещать ей, что беда не так уж велика, могло ведь и хуже быть, сейчас мальчика положат в больницу, назначат хорошее интенсивное лечение, через пару дней от хвори следа не останется.

– Что, обязательно в больницу? – хмуро спросила Остапенко.

Рудаков снова терпеливо объяснил ей, что так, пожалуй, будет лучше для всех, пусть останется под врачебным присмотром.

В тот день Танеев с утра принимал в поликлинике, после обеда его сменяли, возвращался он в стационар. Мальчик, Толиком его звали, лежал в отведенной Танееву палате. Мама, к счастью, незадолго да этого ушла из больницы. Ещё раз посмотрел его ногу. Пovyше щиколотки выделялась небольшая красноватая припухлость, при пальпации не очень болезненная. Посмотрел сделанные Рудаковым назначения. Мальчик вёл себя спокойно, ни на что не жаловался. Перед тем как уйти, Танеев ещё раз наведлся к нему, никаких изменений не выявил. Рудаков ушёл из отделения раньше, напоследок сказал Танееву, что уезжает сегодня в соседний район на свадьбу, если возникнут какие-нибудь проблемы, пусть обращается к Антону Михайловичу.

Антон Михайлович был немолодым уже, достаточно опытным хирургом. Бывший минчанин, обосновался здесь давно, не в пример подавляющему большинству прочих молодых специалистов, отработавших здесь институтскую «обязаловку» – три последипломных года, а затем уезжавшим, чтобы не сказать бежавшим с этой неприглядной железнодорожной станции. Что, кстати говоря, собирался сделать и Танеев, доктора здесь менялись с удручающей частотой. Четвертый из больничных хирургов, Федотов, прибыл сюда на год раньше Танеева, особым рвением к работе не отличался и вообще говорил Танееву, что собирается с хирургией завязывать, не по нраву она ему.

Обитал Танеев в железнодорожном общежитии, делил комнату с терапевтом Генкой, прибывшим сюда одновременно с ним. Поздним вечером, около десяти, когда собирались они поужинать, разложили уже на столе нехитрую холостяцкую снедь, заглянула к ним вахтёрша, сказала, что Танееву звонят из больницы. Спустился он к единственному в общежитии телефону. Звонила дежурная сестра. Доложила, что у Толика Остапенко до сорока поднялась температура, рвота у него была и бредил.

Танеев помчался в больницу, благо недалеко была, поспешил, халата даже не надев, к Толику. Открывшаяся ему картина ужаснула. Поставить диагноз не составляло труда, достаточно было лишь взглянуть на его ногу. Пошло стремительное обострение процесса, септикопиемия, самый грозный враг хирургии. И отчетливо понимал он, что если не дать сейчас гною отток...

Бросился в ординаторскую, позвонил Антону Михайловичу. Трубку взяла его жена, сказала, что он уже спит.

– Лида, это я, – затараторил он. – Я из отделения звоню, тут пацан сильно отяжелел, срочно оперировать надо! Разбуди его!

– Он не может сейчас оперировать, – не сразу ответила Лида. – Ну, ты же знаешь, Володя.

Танеев знал. Антон Михайлович был симпатичный неглупый мужик и специалист не последний, но крепко страдал извечным российским пороком.

– Что, совсем плох? – упавшим голосом спросил Танеев. – Рудакова, ты же в курсе, нет, неизвестно когда появится. Тянуть нельзя.

– А сам никак не справишься? Такая сложная операция?

– Да нет, не очень-то сложная, – вздохнул. – Только самому как-то... К тому же, как назло, там такая история нехорошая, всё одно к одному...

– погоди, сейчас попробую, – пообещала Лида.

Минут через пять в трубке послышался скомканный голос Антона Михайловича:

– Ну, чо там у тебя? – Выслушал, хмыкнул: – Всего-то? Морочишь мне голову всякой ерундой! Без рук, что ли? – И бросил трубку.

Операция в самом деле была несложная, не на желудке же. Сам Танеев никогда её не делал, но однажды ассистировал Рудакову, ход операции представлял себе. И вариантов всё равно не было, звать на подмогу Федотова не имело смысла. В одном мог не сомневаться: скопившийся гной необходимо выпустить, непреложный закон хирургии, быть иначе непоправимой бедой. Позвонил Лиде, операционной сестре. Уж с ней-то никаких проблем возникнуть не могло, ни о чём расспрашивать не стала и минуты лишней не помедлила. Дежурная машина в больнице отсутствовала, но в ней и нужды не было, Лида тоже жила в минутах десяти ходу от больницы, преимущество небольших селений.

Через сорок минут операционная была развёрнута, Толика, впавшего в полузабытьё, привезли на каталке. Операция действительно большого труда не составляла, нужна лишь была особая аккуратность и тщательность, как всегда в работе с гнойным процессом. И удостовериться потом, что затаиться гною негде, ни одного кармашка не осталось.

Танеев, стараясь не думать, какую реакцию выдаст Толикова мама, узнав, что он всё-таки довёл сына до операции, а затем, молоко на губах не обсохло, взялся ещё самостоятельно

оперировать его, сделал первый разрез. И как только сделал это, от всего остального сразу же отрешился, сосредоточился. И, к удивлению своему, почти не мандражировал. Да и не один на один с Толиком остался – Лида, операционная сестра знающая и умелая, толково ему ассистировала. Управились за те же сорок минут. Нормально обезболили, бережно вскрыли косточку, почистили всё хорошенько, антибиотиками щедро промыли, резиночку для оттока надёжно вставили, зашили, никаких проблем. В общежитие Танеев не пошел, остался в отделении, наблюдал. Вскоре температура у Толика упала, он заснул. Танеев тоже покемарил немного на диване в ординаторской. Едва рассвело, снова наведаясь к Толику. Мальчик безмятежно спал, пульс был спокойным, турундочка для оттока работала исправно. Он вернулся в ординаторскую, взялся заполнять операционный журнал. И часа не прошло, как влетела с выпученными глазами дежурная сестра, разносившая по палатам градусники. Толика разбудить не смогла, он был мёртв.

Сначала он не поверил, не мог и не хотел этому верить. Плохо уже соображая, повёл себя как случайный человек – принялся трясти его, хлопать по щекам, орать, чтобы тот открыл глаза. Затем, опомнившись, начал делать Толику искусственное дыхание. Впервые в жизни, лихорадочно вспоминая, что в какой последовательности нужно делать.

Знал, теперь точно знал, что все его потуги бессмысленны, но страшно было оторваться от мальчика, не делать что-нибудь, не занимать себя, потому что после этого не будет уже ничего, совсем ничего. Наконец распрямылся, одышливо сказал застывшей рядом с прижатыми к груди кулаками сестре:

– Я ж не виноват... Только недавно заходил к нему... Это... это... – Не договорил, хлопнул носом, и на ослабевших ногах побрёл в ординаторскую. Подошёл к окну – и увидел маму Остапенко, идущую по улице к больнице с раздутой авоськой в руке. Дальше действовал уже не доктор Владимир Евгеньевич Танеев, и даже не Вован Таняк, бывший дворовой баламут, – вообще неизвестно кто. Этот Неизвестно Кто поспешно натянул на себя куртку, метнулся к двери, выскочил в больничный двор, промчался в дальний его конец, перемахнул через забор и побежал к светлевшему в сторонке березняку. Толком опомнился уже, когда обнаружил себя бредущим среди пятнистых деревьев неведомо куда, тупо пинающим ранние облетевшие листья, вестники скорой недолгой сибирской осени. Дотащился до замшелого поваленного ствола, сел на него, вытер мокрое лицо и просидел так до самой темноты. Надо было как-то жить дальше, знать бы только – как жить? Или лучше вообще не жить?..

Когда совсем уже стемнело, прокрался к общежитию. На его удачу – какую удачу? – вахтёрша куда-то отлучилась, незаметно прошмыгнул на свой второй этаж. От кого прятался, зачем прятался, сам себе ответить не смог бы. Казалось почему-то, что так легче будет существовать в этом отторгавшем его, несправедливом мире.

Обо всём случившемся в его отсутствие поведал ему Генка. Почти всё так, как Танеев и предполагал. Только в процесс теперь активно включился и глава семьи Остапенко, милицкий старшина, ещё, говорят, фору дававший своей нахрапистой половине. Многие думают, что Танеев вообще сбежал куда-нибудь. Вернувшийся Рудаков сказал Генке, чтобы Танеев, если появится, никуда из общежития не выходил. Завтра приедет вызванный из Красноярска патологоанатом, произведёт вскрытие. Обычно трупы вскрывали сами хирурги, так уж было тут заведено. Диагноз – молниеносная форма жировой эмболии, в самом беспощадном своём проявлении, ясен был на девяносто девять процентов, но тем не менее.

Жировая эмболия... Жировая эмболия, закупорка кровеносных сосудов каплями жира из поврежденной костной ткани, проклятье и бич травматологов... Танеев и сам всё время думал об этом, маясь в лесу, вспомнил даже, что летальность от неё после операций на костях наступает чуть ли не каждого сотого, особенно детей. Только разве легче от того, что знаешь и помнишь?..

Генка был на связи. В полдень прибыл красноярский патологоанатом. На вскрытии собрались не только хирурги, но и вся больничная администрация. Диагноз жировой эмболии не вызвал сомнений. Тот самый несчастный случай, не зависевший от вмешательства врача. Днём в общежитие пришел Рудаков. Этой неизбежной встречи Танеев всё время ждал и опасался, пусть и винить его было не в чем, разве что за самовольный уход с работы. Но не однажды уже получал возможность убедиться, что Рудаков всегда находит повод к чему-нибудь придраться, покуражиться, такой уж человек. И был удивлён, даже растроган, что тот отнёсся к нему настолько участливо, посетовал на такое его невезение, припомнил грустную поговорку о том, что почти у каждого врача, хирурга особенно, есть, увы, своё маленькое персональное кладбище, никуда не денешься. Убеждал не падать духом, держать удар, вся жизни впереди, хлебнуть ещё придётся. Больше того, успел оказать Танееву неоценимую услугу. Тоже лишь удивляться оставалось, как умудрился он провернуть это всего за несколько часов. Подключив главного врача, договорились с врачебно-санитарной службой прямо с завтрашнего дня направить Танеева на трёхмесячные курсы специализации при Красноярской дорожной больнице, хоть и начались они уже две недели назад. Приказ уже отдан, все отправные документы подготовлены.

– Спасибо, – всего одно слово сумел выдавить из себя Танеев. – Потом нескладно добавил: – Это из-за этих Остапенко?

– Почти, – туманно пояснил Рудаков, потрепав его на прощанье по плечу. – Давай, собирайся.

Мог бы, вообще-то, и не спрашивать Рудакова, Генка донёс уже, что вся больница гудит, жалеет Танеева и боится за него. Не стоило, конечно, один к одному воспринимать слова разъярённой мамы Остапенко, что прийдёт его, но всё-таки – семейка Остапенко всем хорошо была известна.

Ночью донельзя измотанному Танееву не удалось заснуть. Больше других изводила, покоя не давала мысль: случилось бы это, если бы оперировал Толика не он, а Антон Михайлович? Ведь тот делал бы всё то же самое. Или это он, Танеев, такой фатально невезучий? Наказание ему за что-то? Предостережение? Что занимается он не своим делом, не для него, такого нескладного, хирургия, следует подумать о какой-либо иной специальности?

Утром следующего дня он был уже в Красноярске. За почти три месяца учёбы постепенно отмяк, расслабился, повеселел – чуть ли не возврат к былым студенческим временам, никаких забот, ребята славные попались, девчонки. Но, конечно же, не мог он время от времени не вспоминать о случившемся. И многое виделось уже в несколько ином свете. Отчётливо теперь понимал, что с такой скоростью отправили его на переподготовку не только чтобы защитить от неминуемого выяснения отношений с Остапенками, скорей всего от самого себя его спасали, дал он для этого повод. Чего, признаться, не ожидал он, прежде всего от непостижимого Рудакова. Начал жалеть Толикову маму, при одном воспоминании о которой не так ещё давно ненавистно стискивались у него зубы. Какая бы ни была, но потерять сына... И наверняка оставшуюся в твёрдом убеждении, что мальчика её просто-напросто убили. Но переносилось всё не так уже остро, болезненно, сживался он с этим, оправдывал себя, невозвратное счастье молодости и здоровья.

Кто-то из древних сказал, что у всего есть конец, даже у печали. Заблуждался? Лукавил? Не каждому так повезёт?..

Тем не менее, когда приблизилось время возвращения, Танеев занервничал. И не мог избавиться от крепнущего желания раз и навсегда распрощаться и с этим замызганным холодным городишком, с которым так и не сжился. Тосковал по далёкому родному городу, даже по пятичасовой разнице во времени, и с этим обрыдлым общежитием, и с этой больницей, где не было ему счастья. С палатой, где всегда для него будет лежать Толик Остапенко. Созрела мысль податься в Иркутск, во врачебно-санитарную службу, выпросить разрешение уехать, не

отработав полностью весь положенный срок. Сослаться, например, на болезнь матери. Бессовестно врать, кстати сказать, не придётся – у мамы в самом деле серьёзные проблемы с сердцем, он в доказательство, ежели потребуется, и документы нужные предоставит. В конце концов, можно и куда проще сделать – сесть на поезд и укатить. Не судить же его за это будут. Да и станет ли его вообще кто-нибудь разыскивать? Что, все его однокурсники поехали туда, куда их распределили? Он сам может назвать не меньше десятка фамилий тех, кто после окончания всеми правдами и неправдами пристроились в городе. А он, не в пример им, почти два года уже отрубил, ему зачтётся.

Укрепившись в этой мысли, Танеев уже в куда лучшем настроении, прибыв на немилую станцию, вышел из вагона. Стемнело, и он, поотвыкнув от здешнего бытия, как впервые удручён был деревенской теменью затихших улиц, чуть отойдя от вокзала. А когда подходил к общежитию, почти уверился, что жить ему здесь осталось недолго, повеселел.

Но все эти светлые чаяния, как чисто вымытое окошко кирпичом с улицы, сходу вышиб Генка. Тот как всегда был в курсе всех событий. Танеева тут с нетерпением ждали. И речь не о больнице и даже не об Остапенках – уже дважды навещивался следователь из прокуратуры, оставил свой телефон, по которому Танеев должен был позвонить ему как только появится. Фамилия ему – Басманов. Генке удалось узнать в чём причина – на Танеева заведено уголовное дело по обвинению в действиях, повлекших за собой смерть ребёнка.

– Они что, с ума там посходили? – изумился Танеев. – Было ведь вскрытие, нет на мне никакой вины, несчастный случай! Рудаков знает об этом?

– Знает, – пожал плечами Генка. – Он даже беседовал с этим следователем. Новый какой-то, в прошлом году прибыл. Из Иркутска. Наверняка сюда за крупную промашку какую-нибудь сослали, потому что с понижением. Он о тебе с Рудаковым и разговаривать не захотел. Весь из себя такой. Предупредил только, что если ты вдруг вздумаешь кочевряжиться или слинять, всесоюзный розыск объявят, не поздоровится тогда. Но самая большая лажа – ходят в больнице слухи, будто он какой-то дальний родич Остапенка, точно выяснить не удалось.

Расстроился, конечно, Танеев, но не очень-то испугался. Нечего и некого было пугаться. Муторно лишь стало, что эта кошмарная история ещё, оказалось, не закончилась. Смутило, правда, что этот следователь, какой бы из себя ни был, будто бы отказался разговаривать с Рудаковым. Не вчера же Басманов приехал, а Рудаков, как и всякий ведущий хирург в вотчине, был тут если не царь и бог, то уж незыблемый авторитет наверняка – все под богом ходим, пригодится воды напиться.

Худшие опасения начали сбываться с утра. Рудаков, расспросив, чем и как он в Красноярске занимался, сказал, что надо сразу же, не откладывая, сходить к следователю, чтобы не висело дамокловым мечом, неизвестность хуже. К тому же такая была у него с Басмановым договорённость.

Мир, известно, тесен, в столь малом жизненном пространстве того более, мог это быть и очередной несчастный случай, но скорей всего Толикова мама знала о дне его возвращения, поджидала здесь. Внезапно столкнувшись с ней лицом к лицу у больничных ворот, Танеев растерялся. Вспыхнула мысль, что добром эта их встреча точно не закончится – в лучшем случае она сейчас разорётся на всю округу, скандал устроит, а в худшем – что будет в худшем, даже вообразить было страшно. И что тогда? Как-то защищаться? Спасаться бегством? Но ни того, ни другого не случилось. Она улыбнулась. Ласково так улыбнулась, чуть ли не влюбленно, и тихо, медленно, растягивая каждое слово, произнесла:

– Ты у меня, гадёныш, в тюрьме сгниёшь, не я буду. – И пошла от него, тяжело ступая...

В этой новой девятиэтажке, каких в городе совсем немного, Танееву раньше бывать не доводилось. Судя по множеству добротных, внушительных табличек на ней, сосредоточены тут были все местные так называемые силовые структуры. Звонить перед тем Басманову Танеев

почему-то не захотел, по-ребячески отдаляя тягостный разговор. Подошел в вестибюле к караулившему сержанту, сказал, что явился по вызову к следователю Басманову.

– Паспорт, – велел сержант.

– Не взял с собой. – И зачем-то похлопал себя по карманам. – Я ж не знал. Я Танеев, хирург, мне назначено.

Безысходно вздохнув, давая понять, как устал он от этой непроходимой человеческой тупости, сержант снял телефонную трубку, прокрутил три цифры, сказал:

– Сергей Сергеевич, к вам хирург Танеев. Без документов. – Послушал, затем кивнул Танееву: – Четвертый этаж, там табличка с фамилией, увидишь.

Дверь с нужной табличкой оказалась в самом конце коридора. Басманов оказался не многим старше него, но уже лысоватым и полноватым, с невзрачным лицом, весь какой-то серенький – в сером костюме, сером галстуке. Пригласил Танеева сесть, но потом долго, не меньше пяти минут, словно не замечал его, перебирал листочки в лежавшей перед ним папке. Наконец захлопнул её, перевёл на Танеева припухшие, серенького цвета глаза, снова помолчал немного, затем сказал:

– Я Сергей Сергеевич. Вы, Владимир Евгеньевич, знаете, почему вы здесь? – И когда тот кивнул, продолжил: – Вам передали, что нужно предварительно позвонить? Вы всегда поступаете так, как вздумается?

Всё это Танееву активно не нравилось. Много этот Басманов себе позволяет, ведёт себя с ним как с нашкодившим школяром. Врач он тут или кто? Надо бы сразу же всё расставить по местам, чтобы много о себе не мнил. Но ответил сдержанно, стерпел:

– Чего вы от меня хотите? Вы меня в чём-то обвиняете?

– А вы разве никакой вины за собой не чувствуете? – вопросом на вопрос ответил он.

– За собой, – выделил эти слова, – нет. И давайте сразу договоримся: – О смерти мальчика я с вами разговаривать не стану.

– Это почему ещё? – изобразил искреннее недоумение Басманов.

– Потому что вы не компетентны.

– В чём, позвольте узнать?

– В медицине. И говорить я буду только в присутствии врача, специалиста, которому смогу объяснить что произошло. Хотя, мне и объяснять-то что-либо нет надобности: есть история болезни, есть описание операции, заключение патологоанатома. Не сомневаюсь, впрочем, что вы со всем этим уже ознакомились, добавить мне нечего.

Басманов вышел из-за стола, подошёл к окну, постоял так недолго спиной к Танееву, словно высматривая что-то на улице, затем резко повернулся и недобро, еле размыкая губы, процедил:

– Добавьте, ещё как добавьте. Пока вам самому не добавили.

– Пугаете меня? – сердито засопел Танеев.

Басманов вернулся, сел, слегка пристукнул кулаком по столу:

– Вы тут не геройствуйте. И не стройте из себя невинную овечку. Вы преступник. А в компетенции моей можете не сомневаться, никакой консультант мне не понадобится. Тем более что картина мне абсолютна ясна. Я, вы правы, хорошо ознакомился с делом.

Танеев, непроизвольно вздрогнувший при слове «преступник», слушал его, не веря своим ушам. Что заключение патологоанатома – это ещё не истина в последней инстанции. Что бумага всё стерпит, накатать можно что угодно, все врачи одним миром мазаны, ворон ворону ока не выклюет. Что фактов, на которых строится обвинение, более чем достаточно. Поразительно, что он, Танеев, врач, держится так, будто не чувствует за собой никакой вины, ещё и выделяется тут. И пусть не валит он на всего лишь несчастный случай, потому что у каждого случая, несчастного или счастливого, растут свои ноги.

– Какие ещё ноги? – даже головой в недоумении тряхнул Танеев.

– Те самые, вам-то лучше знать какие. Только ради бога, не надо мне долдонить про эту вашу жировую эмболию. Этот ваш хваленый патологоанатом, он что, все сосуды вскрывал? Видел жировые капли? Что-то я ничего такого в каракулях его не вычитал.

– Какие капли? – Танеев повторил вздох караульного сержанта. – Вы вообще понимаете, какую, извините, чушь несете? – Сильней начал заводиться. – Повторяю, пока моим делом не займётся специалист, человек с медицинским образованием, я участвовать в этом деле отказываюсь.

Басманов захохотал. Очень правдоподобно.

– Посмотрите на него, отказывается он участвовать! Кто-то его спрашивать будет! – Вдруг, в одно мгновение, скулы его окаменели, потемнели глаза. Куда только девалась недавняя округлость, вялость. Сейчас перед ним сидел совсем другой человек, жёсткий, нацеленный. Человек этот выбросил перед собой на стол второй стиснутый кулак, заговорил на тональность выше, и от этого ещё почему-то опасней. Голос его, казалось, может в любую секунду сорваться, взмыть до безумных, гибельных высот, просто физически хлестануть наотмашь по лицу, изничтожить. И страшно было воспротивиться этому яростному напору, да что там воспротивиться – всего лишь неосторожно коснуться его собственным слабым, ненадёжным голосом. И Танеев замолчал, ни единого словечка, восклицания даже, способного покачнуть возводимую на его глазах Басмановым чудовищную конструкцию, не вставлял. И не мог уже понять, он ли разума лишается, или это весь мир вокруг него свихнулся. Верилось уже, что возможно то, чего не может быть никогда.

А Басманов упрямо нанизывал одно слово на другое, сопровождая каждое крепким пристуком то одного, то другого кулака, швырял на стол перед Танеевым свои припасённые карты, все из другой колоды, но все козырные. Он, Танеев, вообще не имел права оперировать мальчика, потому что не проходил ещё специализации по хирургии, тем паче по ортопедии, не имел документального подтверждения, что имеет право оперировать самостоятельно, без надзора. Он, Танеев, никогда подобные операции не делал, не имел необходимого опыта. Он, Танеев, если по какой-либо причине не оказалось рядом более опытного врача, мог бы обратиться за помощью к хирургу городской больницы, время позволяло, но не сделал этого. Он, Танеев, запись о ходе операции в операционном журнале сделал не сразу же после неё, а на следующий день, что противоречит регламенту. Было у него достаточно времени после кончины мальчика, чтобы обдумать, как написать всё выгодно для себя. Не менее преступно, что он, Танеев, некомпетентностью своей, и это ещё мягко выражаясь, халатностью своей довел практически здорового ребенка сначала до необходимости оперативного вмешательства, а потом до летального исхода. Не внял просьбам матери сразу же произвести рентгеновское исследование, вводя её в заблуждение тем, что в больнице якобы нет рентгеновских пленок, что несомненно способствовало утяжелению процесса. Вот он, Танеев, сейчас геройствует, супермена из себя корчит, обвиняет работника прокуратуры в некомпетентности, а не помешало бы ему сначала ознакомиться со вторым разделом сто девятой статьи Уголовного Кодекса, карающей за действия, приводящие к смерти потерпевшего из-за ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей, на срок до пятнадцати лет.

– Вы это серьезно? – очнулся наконец, как после гипноза, Танеев.

– Нет, это я шучу, – дёрнул Басманов верхней губой. – Да ведь вы, Владимир Евгеньевич, сами себя выдали с головой, никакого Шерлока Холмса не потребуется. Чем выдал? Тем, что сбежали, нашкодив, прятались потом весь день неведомо где. На воре шапка горит. – И выставил перед собой ладонь, не давая Танееву что-либо возразить. – Всё. Не могу вам сегодня уделить больше времени. Пока свободны. Я вас вызову. И не делайте глупостей, не советую.

Танеев медленно спускался по лестнице, не покидало его странное ощущение, что этой ведущей всё время вниз, вниз, проваливавшейся с каждым шагом узкой дороге конца не будет. Выбрался на улицу, прислонился спиной к стене. До пятнадцати лет... Но этого просто не

может быть, действительно чушь какая-то! Продышался, мог уже более или менее спокойно, без мелькания перед глазами упрямых басмановских кулаков, соображать. Крепко провел ладонью по лбу, высвобождаясь от наваждения. Одно не вызывало сомнений: родич или не родич этот Сергей Сергеевич Остапенкам, но с ними он в одной связке, что ничего хорошего не сулит. Не зря же улыбалась ему мама Остапенко. И потрудились он, пока Танеев отсутствовал, отменно, нарыл немало. Но ведь чушь, чушь всё это, чушь несусветная. Слушал, развесив уши, как Басманов несёт её, покорно заглывал. Что значит не имел права оперировать не пройдя специализации? Враньё же на каждом слове! Где это записано? Специализацию вообще редко кому удаётся заполучить в первые год-два после окончания. Чем же тогда должен заниматься дипломированный врач, распределённый хирургом? Судна больным таскать? И откуда он, интересно, знает, что запись в операционном журнале делалась утром следующего дня? В окно подсматривал? Никого ведь, кроме него, Танеева, в ординаторской не было. На понт ведь брал, блефовал, как же сразу не высказал ему это? И много ли сыщется хирургов, особенно в большой, трудный операционный день и тем более ночью, которые, завершив операцию, тут же хватаются за операционный журнал, строчат, какой здесь криминал? Но более всего уязвило, что якобы выдал он себя, сбежав после такой беды. Вот же гад какой, нашёл же чем пакостить напоследок! Нужно было побыстрее добраться до больницы, обсудить это, прежде всего с Рудаковым, только бы не отсутствовал тот на операции, терпения не хватит.

Рудаков был в отделении. Антон Михайлович тоже – в поликлинике вёл приём Федотов. Антон Михайлович старался не встречаться с Танеевым взглядом. Присоединилась к ним старшая сестра Петровна, давно работавшая здесь, перевидавшая на своём веку великое множество хирургов, таких и сяких, властная хозяйка отделения, позволявшая себе держаться с врачами на равных и даже выговаривать им, если надобность такая возникала. Ни разу Танеев не слышал, чтобы перечил ей в чём-нибудь даже строптивый Рудаков.

Танеев, немного оклемавшийся уже по дороге, старался почему-то передать свою беседу с Басмановым в юмористических тонах, самого себя лишней раз убеждая, что все басмановские выверты не более чем провокация, яйца выеденного не стоят, так легче было. Как-то так вышло, что нити разговора взяла в свои руки Петровна, досконально знавшая здесь всё и вся, всё видевшая и слышавшая. Рудаков ей в основном поддакивал, а Антон Михайлович больше помалкивал, лишь изредка вставляя какие-нибудь замечания. Сошлись на том, что напрасно Танеев подтрунивает и хорохорится, плохо понимает он, с кем связался, не та контора. А что за гусь этот Басманов, сразу стало понятным, когда вертелся он тут, вычитывал, выпрашивал, вынюхивал. С первого же дня ясно стало, что настроен он к Танееву негативно, отделаться от него будет очень непросто. И то, что родня он или не родня, но точно имеет какое-то отношение к Остапенкам, бегавшим к нему, тоже сомнений не вызывало. Разумеется, всё, что наплел он Танееву, воистину бред, но для шапкозакидательского настроения нет причин – если дело доведёт он до суда, а всё к тому идёт, то обернуться может непредсказуемо. Удовлетворит суд ходатайство следователя – и попробуй потом отмыться, мало ли примеров.

Чуть подсластила пилюлю всегда к Танееву благоволившая та же Петровна: припомнила присказку, что страшнее кошки зверя нет, после чего добавила, что мир не без добрых людей, найдётся кому на ту кошку управу найти. К тому же задета репутация главного патологоанатома дороги.

– Ильич? – спросил Рудаков.

– И он тоже, – уклончиво ответила Петровна.

– Какой Ильич? – удивился Танеев. Немыслимо почудилось вдруг ему, что вступится за него, всё-таки комсомольца, партийная организация, говорят они сейчас намёками. – Владимир Ильич?

– Почти, – хохотнула Петровна, – только он Вадим Ильич, транспортный прокурор. Эта кошка небось пострашней будет.

Больше обнадёжили Танеева не слова Петровны, а тон, каким были они сказаны. Непонятно лишь было, почему берётся за это Петровна, а не влиятельный Рудаков. Разве что Ильич этот ей какой-нибудь кум, брат или сват, все они тут так или иначе повязаны, чужакам не протиснуться. Но когда уже возвращался он в общежитие, вновь заискрилась идея одним ударом разрубить этот туго стягивавшийся узел – просто-напросто сбежать отсюда. Чёрт, в конце концов, с трудовой книжкой, новой обзаведётся, диплом и паспорт у него при себе, остальное не существенно. Подписки о невыезде он Басманову не давал. И блефует Басманов, ёжику ясно, что могут объявить всесоюзный розыск. Как же, больше дела нет у страны, как ловить какого-то никому не нужного Вовку Танеева.

Но не сбежал. Неожиданно оказалось, о чём и не подозревал прежде, что постепенно если не своей, то во всяком случае для чего-то нужной ему становилась эта далёкая непрестижная больница, первая больница в его врачебной жизни. По крайней мере не заслуживала она, чтобы поступить с нею так нечестно. Ещё, может, и потому, что запомнились слова Рудакова об умении держать удар. Принципиально, чтобы не торжествовал Басманов. Мужик он или не мужик, хоть и уязвимо это присловье? Не сбежал, но последующие три месяца были такими, что лучше не вспоминать.

Первым обломом было, что всесильный Ильич, непосредственный начальник Басманова, не захотел тем не менее с ним связываться. Почему – лишь догадываться оставалось. Вмешивалась и врачебно-санитарная служба, приезжал оттуда зам по кадрам, беседовал с Басмановым – и тоже уехал ни с чем. Подключался и Красноярск, защищали, права была Петровна, честь мундира своего главного специалиста – безрезультатно. Будто бы звонили в местную прокуратуру даже из Москвы, из Главсанупра. Танееву казалось порой, что это какой-то дурной сон. Все всё знали, говорили, что никакой вины на нём нет, что этот затеянный Басмановым судебный процесс попросту смехотворен, недоразумение какое-то, но ничего не менялось. Сергей Сергеевич по-прежнему вызывал его, не скрывал своего неприязненного отношения. Что ещё интересно, оказалось, что действительно такие сугубо медицинские, требующие недюжинных профильных знаний вопросы могут решать следственные органы. Верилось уже Танееву, что вцепился в него мёртвой хваткой Басманов не из-за Остапенков, – мстит за то, что назвал его некомпетентным, ничего другого в голову не приходило. Как бы ни относиться к Басманову, но не дурак же он, не маньяк, не может не понимать, что это в самом деле несчастный случай, и для Танеева смерть мальчика была и всегда будет жесточайшим ударом, пусть и не от него зависела. Свою версию выдвинул и Генка, вовсе причудливую: Басманов, явно сосланный сюда из Иркутска за какие-то грехи, хочет реабилитироваться, хватку свою показать, выслуживается. Сказала же Петровна, что не было тут ещё такого, чтобы врача засудили, и наверняка не только в этой больнице...

А потом был суд. Выездной, не здесь, в Ачинске. Почему там – тоже выяснить толком не удалось. Были для того у Басманова основания или без него по каким-то соображениям это решалось, даже Петровна не знала. Народу собралось немало. Остапенки со своей свитой, хмурые, набыченные, главный хирург из врачебной службы, начмед из Красноярска, от больницы главный врач, Рудаков, Петровна, ещё несколько человек, Танеев не запомнил. Он вообще плохо воспринимал всё происходящее.

Его защитник, тоже не случайный, деверь Петровны, был речист, напорист, тщательно, видать было, подготовился к процессу. Убедительно выступали и красноярский патологоанатом, и Рудаков, удалось последнее слово тоже хорошо подготовившемуся, сумевшему неплохо при всём при том держаться Танееву. Заметно было, что и судья, молодая симпатичная женщина, и народные заседатели, оба неожиданно затрапезного почему-то вида, всё правильно понимают, сочувствуют ему. Судья даже резковато осаживала обвинителя, нередко делавшегося чересчур агрессивным. Но конца-края, казалось, этому не будет. Пришёл, однако. Когда судьи удалились на совещание, защитник шепнул Танееву, что дело в шляпе, в полном успехе

можно не сомневаться. И Танеев тоже в этом неожиданно уверился, вспомнились слова Петровны о том, что страшнее кошки зверя нет. Вскоре судья с заседателями появились, она объявила приговор. Когда произнесла слова «три года», у Танеева сердце оборвалось, но от последовавшего вслед за тем «условно» сразу же полегчало. Хорошо ещё, права врачевания не лишили. Это потом уже изводился он тем, как несправедливо с ним обошлись, покарали ни за что, ведь признали всё-таки виновным, такое клеймо на всю оставшуюся жизнь поставили, судимость припаяли, а в те минуты счастлив был, что худшим всё не завершилось. И даже сразу же раздавшиеся возмущенные крики Остапенко и угрозы так это дело не оставить, до генерального прокурора дойти мало затронули его...

Довелось побывать заседателем и ему. Узнал он об этом, распечатав извлечённый из домового почтового ящика конверт со штампом. Через без малого тридцать лет после того, как судили его самого. Танеева В.Е. на фирменном бланке приглашали поучаствовать в этой роли, в приписке сообщалось, что в этот недельный срок за ним сохраняется средняя заработная плата. Можно было не удивляться, почему выбрали именно его и чем там руководствовались – знал он, что никаких заслуг для этого не требуется, найден он методом компьютерного, наверное, тыка. И сразу же решил отказаться, телефон для такого сообщения был в письме приведен. Не только потому, что проблемно было на столь длительный срок оставить работу. Были у него и другие причины хоть каким-то боком не касаться всего, что связано с судом. И, опять же, не только потому, что ранее, уже после собственного печального опыта, доводилось ему принимать участие в таких процессах. Несколько раз в пассивной роли слушателя, была такая потребность, а однажды и непосредственно, свидетелем. Впечатления от этого остались далеко не самые приятные. К тому же с избытком хватало того, что доводилось ему слышать и читать. А та история, когда побывал он в суде свидетелем, буквально потрясла его. Тем более что там уж никак нельзя было говорить о каких-то местнических или корыстных мотивах – подозревать, что соседка по коммунальной квартире, пенсионерка, бывшая проводница, подкупила судью, было попросту нереально.

Давненько уже это было, но помнилось хорошо. К тому времени женившийся уже Танеев пятый год жил в Красноярске. Сын был тогда совсем ещё маленьким, обитали они в большой, старой добротной постройке квартире с двумя соседями, у каждого по комнате, с общей кухней, ванной и туалетом. Одним соседом, верней, соседкой, была молодая женщина, Люба, работавшая в каком-то НИИ, с полгода назад к ним подселившаяся. Другой – та самая бывшая проводница, Роза Петровна, на редкость противная склочная бабка. Танеевскую семью доставала она не очень, докторская всё-таки, остерегалась, разве что сына дёргала всё время, чтобы не шумел, не докучал. Зато бедную Любу буквально терроризировала. Готовила ли себе Люба на кухне, стирала ли в ванной или просто мимо проходила – обязательно цеплялась к ней, выражений причём не выбирая, всячески отравляя ей жизнь. Специально, похоже, её подкарауливали, чтобы сказануть какую-нибудь гадость. Впечатление было, что поставила себе целью выжить её.

Жила Люба замкнуто, гостей принимала редко. Потому ещё, возможно, что побаивалась прилюдных бабкиных выпадов. И было чего опасаться. Та могла пристроиться за дверью, подслушивать, кричала в замочную скважину что-нибудь похабное. Чуть ли не праздником для неё было, если кто-либо из гостей выходил в туалет. Был в её убогом лексиконе перл, слыша который даже Танеевы едва сдерживались. Орала, что сифилис они тут разбрасывают, санэпидстанцию придется потом вызывать. Танеев поражался Любиному терпению. Сам порой готов был собственными руками придушить поганую старуху. Впрочем, Роза Петровна только тогда казалась ему старухой – женщина немногим за шестьдесят, крепкая ещё и оборотистая. Люба же защищалась в основном тем, что старалась не попадаться ей на глаза, на общей кухне никогда не ела, при бабкином появлении быстро скрывалась в своей комнате. Не однажды и Танеев,

и жена его не выдерживали, пробовали защитить Любу, вступали с Розой Петровной в перепалку, но лучше бы этого не делали, Любе потом только больше доставалось.

И никогда, Танеевы во всяком случае такого ни разу не видели, не приводила Люба к себе мужчин. Можно было не сомневаться, что тоже из-за Розы Петровны, не рисковала. Хотя, у Любы, молодой привлекательной женщины, какая-то личная жизнь, конечно же, была: видел он её, при полном параде выходявшей и поздно возвращавшейся, встречался ему возле дома и Любин кавалер – невысокий очкастый парень с хорошим умным лицом потомственного интеллигента.

Но однажды, совпало так, встретил Танеев его в коридоре – Люба как раз открывала ему входную дверь. Не хватало только сейчас, чтобы бабка появилась, успел лишь подумать Танеев, как Роза Петровна, обладавшая сверхъестественным чутьём, тут же высунулась из своей комнаты. Люба, комната её к счастью была ближайшей ко входной двери, поспешно втянула гостя за свою дверь, не дав Розе Петровне проявить себя.

Но худшего, чего ожидал Танеев, не случилось. В коридоре было тихо, Роза Петровна Любину крепость не атаковала. Он даже подумал было, что не такая уж она законченная дрянь, какие-то клочки совести у неё всё-таки остались. Как же. Бенефис Розы Петровны был впереди. Пробил её звездный час, дождалась-таки она, когда Люба вышла проводить гостя. Слово «шлюха» в её страстном монологе было самым умеренным, а фраза о разбрасывании сифилиса самой безобидной. Парень наверняка знал о норове Любиной соседки, изумлён не был, только носом задыхался часто и шумно. Люба же метнулась ко входной двери, на беду свою не смогла быстро справиться с капризным замком и с цепочкой, вытолкала парня наружу, захлопнула за ним дверь и бессильно прислонилась к ней спиной, закрыв лицо руками. Танеев, выходявший в это время из кухни, остолбенел при виде этой отвратительной сцены. Застыл на месте, боясь за себя, – что сейчас не выдержит, подбежит к этой старой ведьме и сотворит что-нибудь такое, о чём потом придется пожалеть.

Но успел лишь подумать об этом. Люба вдруг сорвалась с места, подбежала к Розе Петровне, затрясла перед её лицом кулачками, выплеснулась наконец, завопила. Та с на диво спокойным лицом её слушала, даже, казалось, удовольствие получала, что добились-таки своего. Потом, с тем же невозмутимым выражением лица, матерно послала её по известному адресу. И взбешенная, зарёванная Люба налетела на неё, толкнула на стенку, неумело хлопнула по щеке. Тут уж Танеев бросился к ним. У миниатюрной Любы не было никаких шансов, если крупная, костистая, почти на голову возвышавшаяся над ней Роза Петровна полезет в драку. Схватил Любу за плечи, оттащил, уговаривая не связываться с этой мегерой, в её комнату. Там с Любой началась истерика, одним стаканом воды не обошлось, подоспела жена Танеева, долго не удавалось успокоить Любу. Бабка же больше не выступала, из логова своего не появлялась.

Последовавшие несколько дней в квартире было тихо. Роза Петровна, если встречалась ей Люба, демонстративно не обращала на неё внимания, ходила с загадочным лицом, бормоча что-то под нос. А потом Танеев получил повестку: его вызывали в районный суд в качестве свидетеля. По какому поводу, догадаться было нетрудно. Но, как выяснилось, это не Люба подала в суд на бабку за оскорбления, это Роза Петровна судилась с Любой за полученные от нее побои.

Этот процесс несколько не походил на тот, когда судили самого Танеева, в небольшой комнате они сидели вчетвером: судья за столом, Роза Петровна у одной стены и Танеев с Любой у другой. Сходство заключалось лишь в том, что была судья такой же младежкой миловидной женщиной.

Танеев, когда пришёл его черёд, позаботился о том, чтобы сильно не заводиться, понимал, что надёжней будет, если говорить станет спокойно, веско. Но уж слов не пожалел, высказал всё, что накопилось за годы совместного с Розой Петровной проживания. Рассказал, как издевается та над Любой, как оскорбляет, унижает её, о причине их стычки, официально заявлял,

что он, врач, абсолютно уверен в психическом расстройстве её здоровья, что таким как она вообще нельзя проживать в одной квартире с нормальными людьми. Больше того, признался, что, если следовать поговорке о замахе, что хуже удара, его бы тоже следовало сейчас судить – сам он не раз испытывал неодолимое желание прикончить эту невыносимую женщину, еле сдерживал себя. А Люба, он тому свидетель, никаких побоев не наносила, лишь один раз не сильно хлопнула по щеке, не о чем говорить.

Неизвестно, с кем судья хотела после всего совещаться, но попросила их выйти из кабинета, подождать. Минут через десять – Роза Петровна в это время сидела в коридоре, повернувшись к ним спиной, – выглянула, позвала. Вердикт был таков: Розе Петровне двадцать пять рублей штрафа (по тем временам цена неприятных женских туфель), Любе – год условно.

– Да вы что?! – не обомлевшая Люба вскричала, а Танеев. – Это же нечестно! Зачем же вы ни за что ни про что калечите жизнь девушке?

– Умерьте тон, – ровным голосом ответила судья. – Ваше право обжаловать моё решение в вышестоящей инстанции. А сейчас освободите мой рабочий кабинет, у меня нет времени объясняться с вами.

Ликующая Роза Петровна с завидной для её возраста резвостью ускакала, Танеев успокаивал плачущую Любу.

Это долго потом не давало ему покоя. Почему всё-таки судья так несправедливо поступила, чем руководствовалась? Должны ведь быть какие-то мотивы, ею двигавшие. Ну, положим, не знаком он с соответствующими статьями уголовного катехизиса, но должна же быть какая-то логика, разумность в решениях. Ну да, да, не раз приходилось ему слышать о странных приговорах, о продажности судейской, сам, в конце концов, пострадал когда-то, но какая в том корысть была этой, например, судье, практически защитившей наглухо, безобразную тётку и так жестоко покаравшей девушку? И что срок Люба получила условный, решающей роли не играло, срок есть срок, на собственной шкуре однажды испытал. Судимый человек уже скомпрометирован. Была в этом какая-то вселенская непостижимость, нечто даже потустороннее, мистическое...

Стоя внизу возле синей вереницы почтовых ящиков, Танеев припомнил все подробности той неприглядной истории. И вдруг надумал всё-таки пойти в народные заседатели, изнутри, если удастся, хоть одним глазком, поглядеть, как и что варится в котле таинственной судебной кухни. Для себя просто, никаких конкретных целей не преследуя. Любопытный такой расклад: побывав сначала подсудимым, затем свидетелем, теперь вдруг заседателем. И в назначенное время шёл уже по коридору, отыскивая на втором этаже нужный ему кабинет. Навстречу ему, оживлённо беседуя, шли четверо мужчин в судейском одеянии, все как-то неуловимо схожие, плечом к плечу, во всю ширину коридора. И хоть и не было ни в лицах их, ни в походке ничего зловещего, почудились они издали Танееву четверкой чёрных всадников Апокалипсиса. И как-то беспокойно стало на душе, появилось даже нелепое желание пройти мимо них как-то незаметно, бочком, с самым, каким сумеет, невинным видом, чтобы ничего плохого вдруг не подумали. Сразу же устыдился этой трусливой, подлой мысли, разозлился на себя. И в дверь под нужным ему номером постучал нарочито громко, настойчиво, пусть не думают.

Там уже сидела его будущая коллега, высокая бледная женщина, бухгалтер с комбайнового завода, беседовала с судьей. Тот, средних лет дородный мужчина, с первых же минут, однако, расположил его к себе – и широким простонародным лицом, и негромким хриловатым голосом. Вот разве что масляные глаза его, холодные и влажные, как нос у собаки, несколько ослабляли впечатление. Впрочем, холодными они были в первые секунды, когда вошел Танеев в комнату. Надо полагать, не понравился ему бесцеремонный танеевский стук. Потом они, когда узнал тот, кто и зачем пришел, потеплели, странно оставшись лишь сентиментально, по-девичьи влажными.

Судья ознакомил их с делом. Было оно столь же незамысловатым, сколь и не поддававшимся здравому смыслу. Два мужика, двадцати семи и сорока двух лет, с простецкими фамилиями Сидоров и Кузнецов, пришли в гости к не обладавшей, судя по всему, высокими моральными устоями женщине. Выпивали. И в это время по какой-то надобности зашёл знакомый её, живший рядом двадцатилетний парень, который тоже был приглашен к столу. Затем гости, в крепком уже подпитии, поссорились, вышли из квартиры разобраться. Драка началась на лестничный пролёт выше, у мусоропровода. Во время драки старший, Кузнецов, вытащил нож, парня зарезали. После чего Сидоров с Кузнецовым, затолкав его за трубу, вернулись к столу, продолжили банкет. Но вернулись не налегке – сняли с парня кожаную куртку.

Ведущий это дело судья, представившийся Анатолием Мироновичем, всё это не рассказывал им, а зачитывал. Долго, подробно. Танеев обратил внимание, как часто повторялось слово «куртка», порой даже создавалось впечатление, что снятие с мёртвого парня куртки чуть ли равноценно убийству. Полюбопытствовававшему Танееву Анатолий Миронович объяснил, что наряду с убийством имело место ещё и ограбление, отягощавшее преступление.

Чтения и разборы продолжались даже не каждый день, и занимали обычно не более двух-трёх часов, так что в свободном времени за те же деньги народные заседатели очевидно выигрывали. Пару раз Танеев заметил двух сидевших в коридоре возле их двери девушек. Совсем молоденькие, обе, как на подбор, красивые, ухоженные, стильно одетые. И всегда они говорили о чём-то смешном, потому что хихикали. Впервые увидев их, Танеев удивился, посчитав, что эти барышни имеют какое-то отношение к тем двум убийцам, – уж никак не вязалось. Выяснилось, что это адвокаты, защитники, выделяемые, как положено, подсудимым, которые сами таких нанять не имеют возможности. Понятно было, что они недавние выпускницы юрфака или на стажировке тут, не доросшие ещё до настоящей работы, держат их на подхвате.

Наступил и судный день. В небольшой зал ввели подсудимых, засадили в охраняемую милиционером клетку. Анатолий Миронович облачился в строгую чёрную мантию, сразу заметно прибавив и в серьёзности, и в значительности, глаза утратили былую негу. Убийцы оказались низкорослыми неказистыми мужичками, одетыми в замызганные рабочие спецовки, с тёмными загрубевшими лицами. Танеев знал, что прежде трудились они подсобниками в магазине, но если бы даже не знал, сразу предположил бы это – какие-то очень уж характерные типажи. За отдельным столиком сидели две барышни-защитницы. Больше в зале никого не было, что удивило Танеева. Кто и какими ни были бы эти два потрёпанных жизнью мужичка, но должны ведь быть у них какие-то родственники, друзья, которым их судьба не безразлична.

Поймал вдруг себя Танеев на том, что сидит он справа от судьи излишне прямо, отражает на лице важность порученной ему миссии, расслабился. Было неинтересно. Анатолий Миронович скучно, зачастую не совсем внятно проборматывал тексты хранившихся в папке листов. Барышни откровенно нудились, слушали в пол-уха, перешёптывались. Мужички же – Танеев часто поглядывал на них – слушали с напряжёнными лицами, заметно было, как силятся они вникнуть в смысл судейских слов, как трудно им это даётся. Но более всего поразили его выступления защитниц. Что сидоровская, что кузнецовская отделились безликой фразой, что их подзащитные находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, не ведали что творили, раскаиваются в содеянном и просят суд, учитывая это, смягчить наказание. Выступление каждой заняло вряд ли больше одной-двух минут, после чего они садились с чувством исполненного долга. Впечатление это произвело удручающее. Сказали своё последнее слово и мужички. Тяжко подбирая слова, оба доказывали, что «тот первым начал».

Потом высокий суд – Анатолий Миронович и народные заседатели – удалился в соседнюю комнату для совещания. Судья, перечислив несколько неведомых Танееву статей уголовного кодекса, постановил, что оба они приговариваются к девятнадцати с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в местах заключения общего режима.

– Оба? – не понял Танеев.

– Оба, – подтвердил судья. – Вам что-то непонятно?

– Но ведь, – развёл Танеев руками, – нож был один, значит, и убивал кто-то один. Если даже владелец ножа Кузнецов передал потом нож Сидорову и тот тоже наносил удары, всё равно ведь вина их не одинакова. И кто первым предложил стащить с убитого парня куртку, тоже ведь не выяснено. По крайней мере, я не слышал этого в вашем обвинении.

Анатолий Миронович с неподдельным интересом, как воспитательница в детском саду на смышлёного пацанчика, поглядел на него, спросил:

– Вы полагаете, что это имеет принципиальное значение для хоть какого-то оправдания убийства и грабежа?

– Разумеется, – ответил Танеев.

– Вы тоже так считаете? – обратился он к молчаливой, за все дни и нескольких десятков слов не произнесшей женщине.

– Не знаю, – ответила та, – вместе же убивали, вместе раздевали, одна шайка-лейка. Поглядеть только на них! А парнишки теперь нет в живых, молоденький совсем. – Вдруг шумно, ненавистно выдохнула: – Ублюдки! Как таких земля только носит!

– Интересно девки пляшут, по четыре в ряд! – хмыкнул судья. – Ну что ж, пора делом заниматься. – И вышел из-за стола. Заседатели последовали за ним.

Анатолий Миронович встал, и будничным, невыразительным голосом объявил приговор. Оба подсудимых приговаривались к девятнадцати с половиной годам тюрьмы. Надсадно крикнул и выматерился старший, Кузнецов, у Сидорова сильно качнулась вниз голова, словно сзади кто-то сильно ударил его по шее.

Танеев не знал, как себя повести – не затевать же было диспут в присутствии приговорённых, барышни никак не отреагировали. Может быть потом, не здесь, постараться как-то повлиять на исход процесса, не всё ещё потеряно? Потребовать дополнительного расследования? Что там говорить, эти смолоду спившиеся туповатые мужички, годные лишь на бездумную подсобную работу, почтения к себе не вызывали. Но должна ведь быть какая-то справедливость, и закон, коль на то пошло, один для всех писан, как бы там ни рядить.

Они возвращались в судейский кабинет – Анатолий Миронович скорыми шагами впереди, заседатели поспешали за ним. Танеев размышлял об этом изыщном полугоде, добавленном к девятнадцати годам. Поступил так судья, чтобы показать, насколько дотошно, детально изучил он все подробности дела? Просто плюсовал все цифры из этих статей уголовного кодекса?

В кабинете Анатолий Миронович дал им подписать листки с вынесенным приговором.

– Я обязан подписывать если и не согласен? – спросил Танеев.

– Ну конечно, – сказал Анатолий Миронович. – Вы же участник судебного процесса, это ваша обязанность.

– Но я могу вписать свое особое мнение?

– Разумеется. Только, естественно, не здесь, вот, пожалуйста. – И вынул из папки чистый листок.

– Я пойду? – спросила женщина. – Мне тут в одно место ещё успеть надо.

– Да, пожалуйста, – ответил судья и поблагодарил её за работу.

Танеев, стараясь делать это по возможности кратко и конкретно, написал всё, о чём говорил недавно судье. Поставил дату, расписался и спросил:

– Я могу быть уверенным, что этой бумаге будет дан ход?

– Абсолютно, – заверил его Анатолий Миронович и дружески протянул руку для прощального рукопожатия.

Уже выходя на улицу, Танеев подумал, что не спросил у него, как узнает он, повлияло ли на приговор его особое мнение. Ужасно не хотелось снова входить в тот кабинет, объясняться

с ним, но всё-таки заставил себя вернуться. Кабинет был закрыт. Огляделся. Судьи нигде не было видно. Пропади оно всё пропадом. Чертыхнулся и ушёл.

На улице возле входа курили барышни-защитницы. Досадуя больше на себя, чем на них, подошёл к ним, язвительно поинтересовался, спокойно ли они сегодня будут спать, зная, что пальцем даже не пошевелили, чтобы разобраться в существе дела, хоть как-то облегчить участь своих подопечных. Диалога не получилось. Барышни одарили его туманным взглядом, молча бросили в стоявшую рядом урну недокуренные сигареты и вошли в здание. Танеев постоял, поморщился, плюнул, махнул рукой и пошел в другую сторону.

## Бессонница

Спится мне плохо. Просыпаюсь среди ночи, лежу, думаю о чём-то, вспоминаю. Порой такая дребедень в голову лезет – диву даёшься. Но всё чаще почему-то, годы, видать, подошли, вспоминаются несправедные, назову их осторожно так, поступки, мною когда-то содеянные. Хотя, если уж называть вещи своими именами, были это всё-таки подлости. Подлости большие, подлости маленькие, поправимые, непоправимые, вне зависимости от того, что творились они без умысла, но всё равно ведь подлости. А самое подлое (бездарная тавтология, но точнее не скажешь) в них – что ничего уже изменить нельзя, ничего нельзя поправить. Забыть – тоже не получится, как бы ни старался, давно убедился в этом. И как дорого дал бы я сейчас, чтобы навсегда распрощаться с ними, и без того ведь хватает мыслей невесёлых, гонящих сон...

Понять бы ещё, отчего таятся в памяти, возникают вдруг из небытия те давние истории, о которых я многие годы, если не десятки лет и не вспомнил ни разу. Какие непостижимые механизмы срабатывают во мне бессонными ночами? Совсем недавно, чтобы далеко не ходить, вспомнилось мне, как загубил я воробышка. Наш старый двухэтажный дом во Львове, где прошли мои детство и юность, венчался высоким и просторным чердаком, где жильцы сушили бельё. А детвора с наступлением тепла бегала туда, если ключ удавалось раздобыть, чтобы через люк выбраться на крышу, позагорать. В то летнее утро, было мне тогда лет десять, я, оказавшись на чердаке, услышал какое-то слабое попискивание. Сначала подумал, не мыши ли это или, того хуже, крысы, насторожился. Пригляделся, высмотрел на бруске под крышей растрёпанное гнездышко, из которого выглядывали головки птенцов. Впервые увидел их так близко, подошёл. Три птенчика, крошечные, ещё голенькие, с непропорционально большими головками и разинутыми клювиками. Я бережно взял одного, чтобы разглядеть получше. Он трепыхнулся, я, сам не понял, как это случилось, выронил его. Он упал на бетонный чердачный пол. Я торопливо поднял его, испугался: тёмные бусинки глаз, только что бессмысленно тарасившиеся на меня, затягивались мутной серой плёнкой. Вернул его в гнездо и убежал. Никому об этом не рассказал, весь день томился, уговаривал себя, что самого худшего не произошло, не решался вернуться, чтобы удостовериться в этом. Ближе к вечеру всё-таки поднялся на чердак. Один из трёх птенчиков был мёртв, не вызывало сомнений, что тот самый.

Счастливо детство тем, что способно быстро забывать обиды и печали. Да и не так уж велика была та печаль, чтобы долго ею мучиться, бывали напасти с этой несравнимые. И всё же время от времени всплывали в моей памяти подёрнутые мутной плёнкой глазки птенца, тонюсенькие скрюченные лапки, безжизненно прижатые к утлону серому тельцу. А потом, уж не помню через какой срок, но уж точно не очень долгий, напрочь забылось это, вплоть до недавней ночи. И почему-то вспомнилось вдруг со всей отчётливостью, словно вчера было. Постичь это невозможно...

Уже не с птенцом, а с котёнком связана ещё одна неприглядная история. Уже врачом был, работал хирургом в Иланской железнодорожной больнице, дальний Красноярский край. Жил я один, жена моя доучивалась в Красноярском университете. Появился у меня котёнок, совершенно очаровательный, пушистый, светло-серый, с белой манишкой и персидскими зелёными глазами. Очень милое и доброе существо, тёплое и ласковое. Возвращаюсь я однажды с работы – и вижу на кроватном покрывале, в самом центре, небольшую лужицу. Приучал я его к ящичку с песком, не всегда ещё получалось, но чтобы вот так, на кровати, чего никогда не бывало... Отругал его, носиком в лужицу потыкал и даже легонько шлёпнул для острастки, чтобы впредь неповадно было. На следующий день прихожу – та же лужица на прежнем месте. Словно бы отомстил мне, специально набезобразничал. Теперь ему похлеще досталось: и носом его потыкал сильнее, и парочку шлепков повнушительней он заполучил. Всё повторилось в точности и на третий день. Тут уж я осерчал по-настоящему. В довершение ко всему день у меня тогда

выдался нехороший, одно к одному. Схватил его за шиворот, ткнул бессовестным носом в преступную лужицу и, сопровождая экзекуцию самыми нелестными выражениями, наподдал ему под настроение разок, другой – и в это время что-то капнуло мне на шею. Поднял я голову, увидел на потолке мокрое пятнышко – у верхних соседей что-то там днём протекало...

Что было делать? Если бы понимал мой котёнок человеческие слова, если бы мог я ему всё объяснить, загладить свою вину... Отпустил его, он метнулся под шкаф, а я поспешил на кухню, налил ему в блюдце молоко. Вернулся в комнату, на коленях стоя, заглядывал под шкаф, просил прощения, упрашивал выйти, блюдце подсовывал. Но он лишь глубже забивался в дальний угол, страхом полнились округлившиеся зелёные глаза...

Господи, какой птенец, какой котёнок? Ни в какое сравнение не идущие с обломами, случавшимися в моей полувековой только врачебной жизни, иную уже не трогая. И по большому счёту вовсе не подлость это, а так, не более чем неприятные воспоминания? Что-то изменится, если назвать это другими словами? Поговорка есть такая, тоже сомнительная: у каждого, мол, врача имеется своё собственное маленькое кладбище. Из того ряда, что в каждой шутке есть доля шутки. Бытует она в основном во врачебной среде, для, так сказать, посвящённых. Сводится всё к тому, что пострадали эти люди только из-за оплошности – опять шадяще выражаясь – лечивших их врачей. Речь тут, естественно, не идёт и не может идти о каком-то намеренном злодеянии. По неопытности, по незнанию, по заблуждению, по, наконец, неведомой причине, по несчастному случаю, да мало ли. Никто не застрахован, даже самый опытный, самый умелый и добросовестный лекарь. Не менее же естественно, что не стану я говорить, имеется ли у меня такой собственный печальный опыт. Да и оправдать себя всегда можно, сославшись на обстоятельства. Вот жил бы, например, тот мальчишка со всего лишь начинавшимся остеомиелитом лодыжки, если бы в той Иланской больнице в то дефицитное, чего ни коснись, время нашлась у рентгенолога плёнка, чтобы сделать снимок. Если бы не оторвался после операции сволочной тромб, не перекрыл артерию – причина, не от врача зависящая. Не было в том моей вины? Почему же вспоминается и вспоминается мне тот мальчишка почти полвека? Не мог же я требовать или выпрашивать у больничного рентгенолога плёнку, зная, что осталось их у него совсем мало, и придерживает он их для самых тяжелых случаев, травм черепа, к примеру, или тяжёлых переломов. Но ведь если бы требовал или выпросил, легко бы я с этим диагнозом разобрался, вылечить пацана большого труда не составило бы, никакая операция не потребовалась, тромб не оторвался бы... Обстоятельства такие были, обстоятельства...

И почему, как и этот мальчишка, не забывается крик девчонки в тот промозглый ноябрьский питерский вечер? Я стажировался в Ленинградской военно-медицинской академии, непривычно ходил в шинели, в сапогах. Выпала мне случайная удача познакомиться с Юрием Сенкевичем, вернувшимся после плавания с Туром Хейердалом на камышовой лодке «Ра». Пригласил он меня в дом, где будет рассказывать приятелям о своём путешествии. Конечно же, я с радостью принял его приглашение. Закавыка была лишь в том, что порядки в казарме-общежитии, где жил я во время учёбы, были необъяснимо суровые, хоть и собрались там не какие-то стриженные солдатики, а врачи, все, согласно диплому своему, офицеры, многие уже в зрелом возрасте и с немалыми заслугами. Потому, может быть, что властвовал там хамоватый и малограмотный майор с запомнившейся мне чудной фамилией Скоробогатько, куражился. Появление там после десяти вечера, не получив на то всемилостивейшего разрешения майора Скоробогатько, неминуемо каралось. Мера наказания зависела от его настроения и расположения. Встреча с Сенкевичем затянулась, спешил я к метро, надеясь прибыть пораньше, хоть и понимал, что всё равно не успеваю. Торопливо шёл по скудно освещённому проулку, услышал истошные женские вопли. Именно истошные, другого слова не подобрать, так кричат в минуты самого жуткого, безысходного отчаяния. На другой стороне улицы два парня втаскивали девчонку в парадное. Она мотала головой, кричала. Она увидела меня. Возможно, я бы

смог ей помочь. Как – не знаю, один против двоих молодых здоровых парней, на пустынной ночной улице. Возможно, помогло бы мне, что был я в военной форме, повлияло бы это как-то на них. Возможно, появился бы вдруг ещё кто-то, на моё и девчоночье везение, мне в помощь. Возможно, возможно... Я поспешил дальше, я опаздывал. Убеждал себя, что не струсил я, просто я опаздывал. Десятки лет прошли с того вечера, не однажды довелось мне побывать в передрыгах не этой чета, но помнится, не забывается крик той девчонки, наваждение просто. К слову сказать, напрасно я спешил, всё равно вlepил мне Скоробогатько, с первых же дней отчего-то невзлюбивший меня, пять суток гарнизонной тюрьмы, не отказал он себе в удовольствии. В ней, опять же к слову, встретил я своё тридцатилетие.

Как забыть о том, сколько раз, вольно или невольно, бывал я несправедлив и в поступках своих, и в помыслах? Замах ведь, не зря говорится, хуже удара. Не сравнить же того котёнка с хорошей подругой моей Зоей, главным врачом железнодорожной больницы в сочинском пригороде Лоо. Прелестная молодая женщина, красавица и умница, любительница и знаток поэзии, превосходный кардиолог. А ведь та же была напраслина, что и с котёнком.

Я тогда уже в Ростове жил, работал в медицине Северо-Кавказской железной дороги. Близился мой отпуск, позвонил я Зое, не пристроит ли она меня с женой и сыном в какой-нибудь путный и недорогой пансионат недалеко от моря. Зоя была человеком в тех краях очень известным, знакомства и, соответственно, возможности у неё были не абы какие. Через пару дней она мне позвонила, сказала, что договорилась с директором базы отдыха в Якорной Щели, условились мы, что она встретит нас на вокзале и отвезёт туда. Приехали мы в Лоо, сопроводила нас Зоя в Якорную Щель. Всё нам там понравилось, и база, и условия, и пляж, вот только директора на месте не оказалось. И, как узнали мы от женщины-завхоза, сегодня он уже не появится. У Зои мы остановиться не могли – приехал к ней младший брат, курсант, с ним куча его друзей, повернуться там было негде, спали вповалку. Порешили мы, что как-нибудь переночуем здесь, а завтра рано утром Зоя приедет и обо всем позаботится. Это «как-нибудь» оказалось подобием курятника, во всяком случае, для чего-либо другого оно мало было приспособлено: тесная, низкая, не выпрямиться мне, конура, помещался в ней только один топчан. Ничего другого эта женщина предложить нам не могла: лето, народу привалило тьма, ни один закуток не пустовал. Да и курятник этот свободен был лишь до утра, кому-то уже предназначен.

Мы не печалились – велика ли беда, одну ночь перекантоваться, какая-никакая, а крыша над головой имеется, у нас матрас надувной с собой, не пропадём. Теплынь, пальмы, море неподалёку плещется, истинный рай после недавней Сибири. Утром мы даже на море не пошли, сидели на чемоданах, чтобы не разминуться с Зоей. Час прошёл, другой – она не появилась. Я сбегал, купил чего-нибудь нам поесть, прождали без толку ещё час. Я отыскал директора, назвался, сказал, что Зоя Михайловна с ним договаривалась. Тот, помятый и мутноглазый, наверняка вчера крепко бражничал, ответил, что ничего такого не припомнит, вот прибудет Зоя Михайловна, тогда и поговорим. Вернулся я обескураженный, раздражённый, время уже к двенадцати, жарыща, сын и жена измаялись. Досада на Зою росла с каждой минутой, и слова, ей адресованные, рождались у меня далеко не лестные. Ну, накручивал я себя, пусть не смогла она по какой-либо причине приехать, разве трудно было позвонить директору? В конце концов, прислать кого-нибудь вместо себя, машина всегда под рукой, ехать-то минут пятнадцать-двадцать. Не удастся нам обосноваться здесь – отвезти пока к себе, хоть чемоданы оставить, не бросать нас тут на произвол судьбы, тем более с маленьким ребёнком. Хороша подружка, нечего сказать. Около часа дня я чётко понял, что ждать дальше бесполезно. Изнывая от жары, поплелись мы на вокзал, увидели хвост только что отбывшей электрички, следующая отправлялась через полтора часа. Я чертыхался, проклинал тот день, когда позвонил Зое.

Доехали мы в душном, переполненном вагоне до Лоо, дотащились до больницы. У больницы собралась толпа. Многие плакали. Зои больше не было. Вчера вечером погибла она в

автомобильной аварии. Язык бы мне оторвать за те подлые мои слова и мысли. Когда была уже она мертва.

Подлость. Липкое, даже фонетически гадкое слово. Оттого, что можно при желании подыскать к нему менее жёсткий, шадящий синоним, ничего не изменится. Я, хоть и негоже самому о себе судить, подлецом себя всё-таки не считаю. В меру сил своих стараюсь никому не пакостить и всякой грязи сторониться. И назови меня кто-нибудь человеком бесчестным и бессовестным, сочту себя несправедливо оскорблённым. Но Бог ты мой, сколько раз за долгую свою жизнь смолчал я, когда нужно было сказать, говорил, когда нужно было молчать, оставался, когда нужно было уйти, хлопнув дверью, хлопал дверью, когда нужно было остаться, жал руку человеку, которого бы видеть в упор не следовало, и длить этот ряд, увы, можно было бы ещё долго. И самое во всём этом подлое, что всегда ведь можно поискать себе оправдание, почему вынужден был поступать так, а не иначе, и плавает в этой мутной водичке скользкий, захватанный, латанный-перелатанный спасательный круг с лукавой надписью «обстоятельства» на нём...

Да только ли это? Хватило бы одного того, сколько раз, опять же вольно или невольно, несправедлив я был к жене, к сыновьям, к друзьям, характер выказывал, когда проще и даже выгодней было не выяснять отношения, вообще не обращать внимания на всякую ерунду, дурь какая-то. И хуже всего не то, что портил и себе, и другим настроение, а что зная порой о неправоте своей, признаваться в том не хотел, кочевряжился. А с мамой? Пусть и, ещё раз рискну о себе судить, был я не самым худшим сыном. Тоже ведь всякое у меня с ней бывало. Как быть с замечательной моей мамой, которой давно уже нет, и нельзя теперь ничего изменить, поправить, прощения попросить?..

Вот уже больше четверти века ношу я в себе неизбывный грех, на первый взгляд эфемерный, яйца выеденного не стоящий. И вспоминаю о той давней истории едва ли не чаще, чем о многом другом, куда существенней. И казнь себя не меньше.

Того солдата и солдатом-то назвать было трудно. Разве что принимая во внимание, что военная форма на нём, сапоги, погоны. Но всё это больше походило на пародию или, не исключено, на провокацию. Будто намеренно злопыхатель или недоумок какой-то вздумал поиздеваться над «нашим доблестным защитником Родины», выставил его на обозрение в таком скоморошном виде. Низкорослый, щуплый юнец в донельзя заношенной, измятой, точно на помойке найденной гимнастерке, мешком висевшей на нём, в таких же замызганных обвисших штанах и пыльных, разваливавшихся сапогах. В довершение ко всему на его маленьком бледном лице красовался синяк под глазом. Увидев его, подивился я больше не тому, что не постыдился он появиться таким в городе, а что вообще выпустили его из части и не расправился с ним первый же встретившийся офицер или патруль. Знал я, конечно, что не лучшие времена переживает сейчас армия, но в любом случае можно было привести себя в более или менее пристойный вид – форму выстирать, погладить, сапоги почистить. Ещё и этот фонарь под глазом. Может, напился он или дряни какой-нибудь накурился? Поравнявшись со мной, он остановился и тихо, запинаясь, попросил у меня сигарету. Я хмуро буркнул, что не курю, и прошёл мимо...

Были это первые перестроечные годы, судорожные и безбашенные. Да, живя в это свихнутое время, сам наглотался под завязку, но и представления не имел об ужасах, творившихся в войсках, об издевательствах «дедов» над новобранцами – «духами», так они, кажется, называются, о жестоких побоях, изнасилованиях, об изуверской травле, доводивших ребят до самоубийства. Что отбирают у них деньги, еду, вещи, вынуждая ходить в обносках, превращают их в бесправных и безответных рабов. Не знал я, что вершится этот кошмар при полном безразличии, если даже не попустительстве офицеров, таких же униженных, опустившихся, спивавшихся, махнувших рукой на себя, на службу свою, на возможность что-либо изменить, а зачастую и побаивавшихся тех же «дедов». Привычно молчали об этом советские газеты, теле-

видение, не было ещё Интернета, а я к тому же далёк был от армейских дел, близко сталкиваться не доводилось. Как и не мог я знать, что этих загнанных, бесправных пацанов «деды» выгоняют в город за сигаретами, и если не принесут те требуемого количества, избивают. А я не дал сигареты, хотя почти полная пачка в кармане лежала, этому несчастному мальчику, солдатику. Да ещё такому маленькому, слабосильному. Подлость такую совершил...

Но вот эту подлость я целиком на себя не беру, делю её с нашим аршином общим неизмеряемым государством, со всеми его бывшими и нынешними властителями. И доля тут моя несравнимая. Нет и не будет им ни оправдания, ни прощения, как бы туго стране ни приходилось, какие бы беззакония ни творились, сколько бы ни ввалили, ни воровали, ни пропивали. Ни при каких обстоятельствах. Допустить, чтобы так калечили этих несчастных мальчишек! Чтобы калечили не только физически, но и, что, пожалуй, ещё страшней, духовно ребят, лишь начавших свой путь во взрослую жизнь. Не находить управы на мерзавцев, садистов, превращавших их казарменную жизнь в беспредельную лагерную зону, с её бандитскими, уголовными нравами! И ничего ведь тут по большому счёту не меняется, хоть и меняются времена, не одним уже зомбоящиком народ окучивается. Ну да, да, старается докричаться до людей хилое племя правозащитников, известными становятся какие-то вопиющие случаи казарменного беспредела, какие-то комитеты создаются, комиссии, даже уголовные дела заводятся. Толку-то. И оттого, что всё-таки не перевелись ещё нормальные люди, человеки с офицерскими погонами, на которых молятся отцы и матери призывников, существуют части, где ребята нормально служат, а не выживают, легче не делается. А эти «духи» сплошь и рядом превращаются в таких же «дедов», потом в «дембелей», потом возвращаются в повседневную нашу жизнь. И сколько их, изуродованных прежними унижениями, сначала в одном, затем в другом качестве, с извращёнными понятиями о долге, чести, достоинстве. О жалости, сострадании. Наши дети, наши внуки. Подлость в самом неприкрытом, самом совершенном виде. Это не говоря уже о том, какие из них будут защитники, кого и как будут они защищать. У моего товарища, эмигрировавшего в Израиль, внука служит в армии. Хочет она вообще связать с нею свою дальнейшую жизнь. Бойтся, что не удастся – слишком большой там конкурс и строгий отбор, особенно в боевые войска. А сейчас она, приезжая домой на выходные, сразу же, едва переодевшись, заваливается спать, и проспать порой может чуть ли не сутки. До того устаёт, выматывается. Домашняя девчонка, смышлёная, смешливая...

Или вот ещё. Те три щенка, которых увидел я, проезжая мимо болотистой заводи лет тридцать тому назад. Три чёрных мохнатых головы, торчавших над водой. Близко друг к другу, швырнули их сюда одного за другим. Недалеко, метрах в трёх всего от берега. Причём не только родившихся, по виду наверняка не моложе трёхмесячных. Но всё равно, несмышлёные ещё, не плыли они к нему, беспомощно барахтались на одном месте. Неведомо сколько времени прошло, но в любом случае жить им оставалось недолго, погибать тяжёлой, мучительной смертью. Даже помыслить нельзя было о том, чтобы спасти их. И не по одной причине. Ну, допустим, разулся бы я, брючины закатал – кстати, ранней весной всё случилось, вода холодная, – подобрался бы к ним, вытащил. Куда бы их, мокрых, закоченевших, дел потом? К тому же ехал я по делу, встреча у меня была назначена, какие варианты? Немало, повторюсь, было у меня поводов жалеть о содеянном или не содеянном. Опять же сопоставляя с обломами, бывавшими в моей жизни, но почему-то именно эти три щенячьи головы над водой всё не забываются. Вспоминаются чаще всего, когда вижу такую собаку. Возможную. Чёрную. Мохнатую. Весёлую. А собак таких в городе...

Спится мне плохо. Просыпаюсь среди ночи, думается о чём-то, вспоминается...

## Мобильник

Дежурство было трудным. Иногда одного больного в отделении бывает достаточно, чтобы ни разу за ночь не только не прилечь, но и не присесть. А в эту ночь таких было у меня трое. Порой, признаваться стыдно, даже злиться на них, докучливых, начинаешь. И жалеть, что выбрала для себя эту дёрганую, в довершение ко всему ещё и скудно оплачиваемую профессию медицинской сестры. Ещё и в хирургическом отделении, да когда сестёр не хватает. От одних этих ночных дежурств, изнуряюще копившихся месяцами, когда путаться начинает время суток, и жить перестаёшь нормальной человеческой жизнью, муторно делается. У меня эта жизнь длится уже второй год. Все – и девчонки, и давно уже не девчонки нашего отделения брюзжат об этом, никто, однако, в мою, по крайней мере, бытность, не уволился, не норovil пристроиться где-нибудь полегче и посытней. Я, кстати, тоже. Громких слов говорить не хочется, но тем не менее. Потому, наверно, что повезло мне, в хороший, путный коллектив угодила, а зав у нас вообще золотой мужик. Это я о себе, за других, конечно же, не ручаюсь.

Но это так, лирическое отступление. Просто к тому, что к утру сильно устала, вымоталась. Ноги гудели, и войдя в автобус, мечтая поскорей оказаться дома, посетовала я, что все сиденья заняты. Но всё же рефлекторно успела заметить, что сидевший с краю чуть поодаль парень довольно привлекателен, из тех, что обычно нравятся девушкам, – чернявый, поджарый, романтично длинноволосый, свитерок на нём стильный. Перехватила его почти такой же оценивающий взгляд, сразу же с безразличным видом отвернулась, только этих гляделок мне сейчас не хватало. А он удивил меня – встал, улыбнулся:

– Садитесь, пожалуйста.

Потому удивил, что не припомню я, когда в последний раз такое обхождение мне выпадало, уступали мне место. Голос у него был приятным и улыбка хорошая, впрочем, особого значения это не имело, сейчас не меньше была бы признательна, окажись он каким-либо другим. Тоже изобразила улыбку и с удовольствием плюхнулась на доставшееся мне сиденье. То ли поспешила я, то ли он не в лад со мной попал, но на какое-то мгновение мы с ним соприкоснулись, чему я, впрочем, не придавала никакого значения. И на него больше, пока не доехала до своей остановки, ни разу не взглянула.

Перед самым моим уходом из больницы позвонила мама, просила купить по дороге хлеб, молоко и ещё что-то, чего не смогла я вспомнить. Возле гастронома полезла в карман за телефоном, чтобы позвонить ей, спросить, но там его не оказалось. Ношу я его всегда в левом заднем кармане джинсов, искать где-либо в другом месте не имело смысла, но я на всякий случай проверила все остальные, неведомо на что ещё надеясь. Другие варианты исключались – сумки у меня с собой не было.

Расстроилась ужасно, даже всплакнула. Не потому только, что был это дорогой, ещё и памятный, подаренный мне родителями на восемнадцатилетие мобильник. Не представляла себе, как теперь обойдусь без него, лишившись всех в симке хранившихся номеров, словно бы частицу самой себя утратила. И не вызывало сомнений, что не забыла его где-нибудь, а потеряла. Потому что, выйдя уже из больницы, на автобусной остановке, звонила по нему Светке.

Мама, увидев меня, сразу поняла, что случилась какая-то беда, утешала меня, когда рассказала ей о пропаже, своим с детства мне памятным плацебо «пусть больше горя не будет», но легче мне от этого не делалось.

Завалилась я спать, проспала на удивление долго, на кухне встретила меня сияющая мама. Не хотела, сказала, меня будить, дала отдохнуть, есть у неё для меня хорошая новость. Звонил ей какой-то мужчина, обрадовал, что нашёл мой мобильник. Отыскал он контактную запись «мама», созвонился с ней, сообщил об этом, оставил свой номер телефона, чтобы условиться, где и когда сможет он вернуть мне пропажу. Новость была не хорошая – замечательная.

Я, ни секунды не медля, набрала записанный мамой номер моего спасителя, слово это сейчас не казалось мне выпреним.

Ответил мне спокойный, мягкий, я бы даже сказала, вальяжный голос. Я, конечно же, сразу зачастила о том, как безмерно благодарна ему, как выручил он меня. Спросила его, где и когда удобно ему со мной встретиться, он сказал, что это на моё усмотрение, его любой вариант устроит, вообще сразив меня своей любезностью. Спросила я, где он теперь, я бы могла, чтобы не затруднять его, туда подъехать. Он предложил, если это недалеко и устроит меня, встретиться возле памятника Пушкину, через час. Всё меня, конечно, устраивало, спросила, как я его узнаю. Он сказал, что будет на нём серый костюм, а в руках... Тут он помедлил, уверена я была, что скажет он, само собой это разумелось, «ваш телефон», но он вдруг почти беззвучно рассмеялся и, другим уже, ироничным тоном произнес:

– Три жёлтых цветка.

Такого оборота я уж никак не ожидала. Ну, Пушкин – это понятно, застолблённое место, но цветы, мне, случайному, незнакомому человеку? Это я, по идее, должна была дарить ему цветы. Верней даже, не цветы, мы с мамой потолковали об этом, а деньги. Ведь скорей всего вряд ли он настолько бескорыстен и великодушен, чтобы тратить на какую-то раззяву время, беспокоиться, загружать себя, оно ему надо? Хороший ведь мобильник – запросто мог бы он если не себе его взять, то продать, скупочные машины да лавочки повсюду натканы. А то и, кто понаглей и хабалистей, элементарно самому же хозяину и загнать, наслышаны мы о подобных историях. Тогда проблема лишь в том, о какой сумме заведёт он речь, решили мы, что я на этот случай возьму с собой три тысячи, больше просто денег в доме не было. И вдруг – цветы. От него – мне. В голове не укладывалось.

– Почему цветы? – нескладно спросила я.

– Ну как же, – в голосе его по-прежнему таилась улыбка, – встречать женщину без цветов непростительно.

Чем ещё больше смутил меня. Подыграла вдруг ему:

– А если я стара и некрасива?

Он в ответ:

– Старых и некрасивых женщин не бывает. А уж недостойных цветов тем более.

– Тогда ещё раз спасибо, – того нелепей пробормотала я. Глянула на часы. – Сейчас почти пять. Буду в шесть. Хорошо?

Он сказал, что хорошо.

Мне добираться до памятника Пушкину минут двадцать. Время подпирало. Я наскоро поела и поспешила к зеркалу наводить на себя красоту. Хотела ему для чего-то понравиться? Это что-то меняло бы? Заинтриговал он меня этими своими цветами? Или всего лишь потому, что предстояло встретиться с мужчиной, который так необычно, достойно отнёсся ко мне? Попыталась по одному только голосу вообразить, как он выглядит. Голос, правда, ни о чём ещё не говорит, разве что нередко явного дурака распознать по нему всё-таки можно. У Чехова в «Степи», правда, – не по голосу, а по смеху. Ближе всего, что не молод он, парни сейчас редко в костюмах ходят, к тому же такого скучного цвета. Хотя, если он где-нибудь в офисе трудится или в чиновниках, – вполне возможно.

Размышляла об этом, когда шла к нему. Имело для меня сейчас какое-то значение кто он и что? Казалось, имело. Но что звонивший, если б не эта история с пропажей телефона, даром мне не нужен, кем и каким бы он ни был, это уж точно. Все особи мужского пола, кроме Павлика моего, вот уже более полугода для меня вообще не существовали. А денег, конечно, жалко было. Кстати о деньгах: а что если потребует он больше трех тысяч? Сколько мой мобильник стоил, я не знала, но что далеко не из дешёвых он, была уверена. К тому же и Светка подтвердила, а она в этом разбирается.

Увидела его издалека. В сером костюме и с тремя желтыми тюльпанами. Тут же возникло смутное ощущение, что где-то я его раньше видела, память на лица у меня хорошая. Ближе подошла – и вспомнила: тот длинноволосый парень, что уступил мне утром место. Никакое не странное совпадение – мобильник ведь наверняка вывалился у меня из кармана в автобусе, а он, рядом стоявший, потом заметил его, удивляться тут было нечему. Зато у него, когда я подошла к нему, брови на лоб полезли:

– Это, оказывается, вы? Вот уж приятный сюрприз!

Я усмехнулась, сказала ему, что вряд ли сюрприз, потому что на сиденье, когда я встала, мог остаться только мой, выпавший из кармана телефон.

– Все нет, – возразил он, – я нашёл его на полу, наступил на него. Повезло, что не раздавил, исправный он, я проверял. – Улыбнулся своей обаятельной улыбкой. – И вам повезло, и мне.

Это его «и мне» тут же вернуло меня к действительности. Речь, значит, пойдёт сейчас о выкупе. Улыбки – бесплатное приложение.

– Держите. – Вынул из кармана и вручил мне телефон. – В целости и сохранности. – И это, – протянул мне букетик. – Они, увы, не достойны вашей красоты, уж не обессудьте.

Я была польщена. И, чего уж там, очень это было приятно. Поотвыкла я не только от того, что кто-то уступит мне место. От обхождения такого не меньше. И не цветами одними тронул он меня. Это его «уж не обессудьте» значило для меня немало. Лучше моего Павлика, конечно, быть никого не может, и Павлик тоже не с печки слез, медицинский заканчивает, но до «уж не обессудьте» всё-таки не дотягивает. Никаких я сравнений не делала, просто подумала вдруг. А он, отдав мне цветы, как-то непонятно повёл головой – в равной мере можно было подумать, что и поглядел он просто в сторону, и что подставил мне щёку для поцелуя. Если хотя бы мелькнула у него шальная мысль о втором варианте, то слишком много он на себя брал, пусть даже речь шла о цветочно-ритуальном, ничего не значащем чмокание в щёчку. Но пора уже было и мне, и ему определяться, не торчать же нам бесконечно друг перед другом, улыбки раздаривать. Сразу, дабы, как любит говорить Павлик, не тянуть студента за хвост, перешла к делу. Поблагодарив за цветы, сказала:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.